



Проза XX века

МИХАИЛ

ТАРКОВСКИЙ

Очарованные
Эннисем



Проза нового века

Михаил Тарковский
Очарованные Енисеем

«ВЕЧЕ»

2021

Тарковский М. А.

Очарованные Енисеем / М. А. Тарковский — «ВЕЧЕ»,
2021 — (Проза нового века)

ISBN 978-5-4484-8647-0

В новую книгу известного российского писателя Михаила Тарковского вошли как впервые опубликованные, так и его ранние малоизвестные повести, написанные на рубеже веков: «С высоты» и «Девятнадцать писем», а также повесть «Кондромо», которая, по словам автора, стала попыткой явить в художественном слове образ енисейской Сибири, показать её красоту и тайну. Открывает книгу новая повесть «Живая верста». Это автобиографическое повествование словно предваряет последующее содержание книги. Действие «Живой версты» начинается в 1974 году в Туве, где писатель работал после девятого класса в противочумной экспедиции, и где с первого взгляда на Саянские горы остался навсегда очарованным Енисеем.

ISBN 978-5-4484-8647-0

© Тарковский М. А., 2021

© ВЕЧЕ, 2021

Содержание

От автора	6
К юбилею Красноярского края	7
Живая верста	13
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Михаил Тарковский Очарованные Енисеем



© Тарковский М.А., 2021

© ООО «Издательство «Вече», 2021

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021

ООО «Издательство «Вече»

<http://www.veche.ru>

От автора

«Очарованный Енисеем» – так назывался очерк замечательного критика из Новосибирска Владимира Яранцева. Очерк этот был посвящен трехтомнику моей прозы, вышедшему когда-то в Новосибирском издательстве «ИД Историческое наследие Сибири». Называя книгу, которая перед вами, мы хотели вложить в это название и надежду на то, что к числу очарованных великой рекой войдет и читатель.

Большую половину книги составляют самые первые повести, написанные на рубеже веков, такие как «С высоты» и «Девятнадцать писем», и завершающая эту первую полосу литературных исканий повесть «Кондромо»¹, которая стала почти отчаянной попыткой явить в художественном слове образ Енисейской Сибири, показать ее красоту и тайну, используя для этого поэтические мощности нашего языка на самом пределе собственных возможностей. Насколько это удалось – судить только читателю.

Стилистически повести отличаются друг от друга и отражают творческий поиск. Я долго думал, ставить ли в книгу «Гостиницу Океан». И все-таки решил включить, поскольку дух произведения очень соответствует разрушительной атмосфере конца двадцатого века: результаты тех социальных потрясений мы наблюдаем сегодня во всей красе во всех сферах нашей жизни.

Наряду с первым повестями мы поместили в начало книги совершенно новую и не опубликованную в журналах повесть «Живая верста», полагая, что автобиографическое это повествование будет хорошим преддверием к остальному содержанию книги. Действие «Живой версты» начинается в 1974 году в Туве, где я работал после девятого класса в противочумной экспедиции и где с первого взгляда на Саянские горы оказался навсегда очарованным Енисеем. А в 1978 году студентом я поехал в экспедицию в Туруханский район Красноярского края, где работал полевым зоологом... Однако не буду пересказывать содержание.

«Живая верста» дает возможность пронаблюдать, как эпизоды из повестей «С высоты» и «Отдай мое» перекликаются с реальными событиями из жизни автора. Ну и в заключение – составляя содержание книги и переосмысливая прожитое, я испытал большое волнение: взглядом из сегодняшнего дня на истоки книга словно подводит итог целой полосы жизни.

Считаю эту книгу литературным обращением к Енисейской земле, как одной из главных и удивительнейших территорий нашей Родины. На первых страницах хочу поделиться с читателем мыслями о 85-летнем юбилее нашего края.

¹ Кондромо – точного перевода этого эвенкийского слова не знают даже старожилы. «Кондо» означает мыс, и речная природа этого названия очевидна.

К юбилею красноярского края

Любой юбилей останется эффектным сочетанием цифр, юбилейщиной, если не увидеть в нем повода для вопроса: а что я сделал для родного края, как поучаствовал в его судьбе, что смогу сделать сейчас и в будущем? Как привычно ни звучали бы слова «сделать для», в действительности что-либо сделать оказывается довольно сложным, так как у многих людей нет для этого ни возможности, ни сил. Тем более если ты не создатель гениального романа или железнодорожного моста, а просто пропахал свою жизнь так, что спина по ночам трещит, или просто работаешь, чтобы семью на плаву держать. (Хотя и полноценная семья нынче уже огромный вклад в судьбу Отечества.) Но все равно при слове «сделать» нам невольно представляется что-то и эпохальное, и очень конкретное одновременно. И, наверное, для того и существуют литературные издания, чтобы его участники – и авторы, и читатели – вместе попробовали разобраться в отношениях со своей землей...

Красноярский край – главнейший регион России. Об этом говорят и его размеры, и центральное положение на карте нашей страны. Как известно, край был образован 7 декабря 1934 года постановлением Президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) РСФСР. В состав региона вошли несколько десятков районов, Хакасская автономная область, Таймырский и Эвенкийский национальные округа. Центром стал город Красноярск. Край был образован почти в границах бывшей Енисейской губернии. Площадь его – свыше двух миллионов квадратных километров, и он до сих пор является вторым по площади регионом после Якутии. В 1991-м Хакасская автономная область вышла из состава края и была преобразована в республику; в 1993 году самостоятельный статус получили Таймыр и Эвенкия. С 1 января 2007 года Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ вновь вошли в Красноярский край. Округа вошли в состав края как Таймырский, Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы.

О Туве: в апреле 1914 года правительство России установило протекторат над Тувой, которая под именем Урянхайского края вошла в состав Енисейской губернии. Такое административно-территориальное деление сохранялось до начала 1920-х годов. В 1944 году Тува вошла в Советский Союз на правах автономной области. В 1961-м была преобразована в Тувинскую АССР. В 1991-м переименована в Республику Тува. Был принят вариант конституции 1993 года с новым названием: Республика Тыва. В новой конституции России 1993 года, принятой спустя два месяца, было закреплено название «Республика Тыва». В действующей конституции республики названия «Республика Тыва» и «Тува» стали равнозначны.

Несмотря на административную отдельность Тувы от Красноярья, все мы, конечно же, относим эту удивительную страну к нашему кровному миру, осененному Батюшкой-Анисеем, объединенному логикой природы и географии. Понятно, что и транспортно, и экономически, и, что самое главное, человечески эти смежные территории неразделимы.

Вообще, очень многие жители региона, и в первую очередь красноярцы, несмотря на протяженности и безлюдья и даже им вопреки, считают весь край своим. Будто Хатанга, Тура, Танзыбей или Хандагайты – не запредельно далекие поселки, отстоящие друг от друга на сотни и тысячи верст, а хорошо знакомые горницы одной огромной избы. Вспомним, как в советское время к друзьям и родным летали, будто на автобусе, и ненаселенка, казалось, сокращала, глотала расстояния, и товарищ, живущий в тысяче верст, казался тебе ближайшим соседом. Оно и сейчас живо, это соседство по жизненным условиям, по природе и по судьбе. Оно порождает какую-то особую гордость северян, жителей дальних мест, да и вообще сибиряков: мол, и трудно, и далеко, и ледяной ветер в лицо, но это наше. Сгусток: и героика труда, и привязь к месту, комом подступающая к горлу, когда взлетаешь и смотришь из вертолетного оконца на горстку домов, и какое-то витающее в воздухе бескорыстие всей этой жизни на фоне чахлах

лиственниц, и красота немислимая, и то, что за кусок драгоценной рыбы ты платишь мозолями, а не пачкой денег в ресторане.

Или дорога, особенно близкая именно сибирякам из-за все тех же расстояний и так роднящая нас и с прошлым, и с теплой зауральской Рассеюшкой. И все то, что воспето в русских песнях и романсах: и тракты, и санные пути, и звон бубенцов, и заиндевелые конские морды, и ломовые морозы, и пурги, и все дорожное, путевое, обостренное уже именно условиями Сибири и прокаленное ею до новой ценности и силы.

Говоря о юбилейной дате, мы не считаем ее рубежом, разделом и ни в коем случае не прерываем историческую преемственность, течение русского времени. Без сомнения, енисейская земля, став из губернии краем, приняла весь груз традиций и завоеваний, а далее продолжила свой морозный кат уже в новых условиях и исходя из тех задач, которые диктовали и обстановка Великой Отечественной войны, и курс на экономическое строительство, и масштабное освоение природных ресурсов.

Поскольку нас прежде всего интересуют богатства духовные и человеческие, не хотелось бы повторять всем известных истин о богатствах природы, которыми она столь щедро одарила своих не слишком рачительных детей, и тому подобные вроде бы знакомые вещи... Но как порой страдают и дело, и истина... даже не от усталости слов, а от притупления нашего слуха и зрения, от утери человеком способности видеть Божий мир в его первозданной, что ли, яркости.

И как не повторить, что Красноярский край воистину огромен и непомерен, и если взглянуть на карту, поразишься ненаглядности нашей природы, невозможности одним взором охватить ее и осознать, уложить в душе в постижимом виде. Если обратить взор к истокам Енисея, к монгольской границе, и повести его на север через Саянскую горную систему, то божественная мощь природы явится в небывалой, какой-то концентрированной и абсолютной красоте. Чего стоит облик очень крутых Саянских хребтов со сверхгустой темнохвойной тайгой, с резными гребнями гор в частокле остроконечных елей, пихт и кедров. Свечеобразность призвана убеждать дерево от обвальных снегопадов и выливается в абсолютно готическую какую-то устремленность кроны ввысь. Деревья до символичности вытянуты к небу, словно в очередной раз напоминают о незыблемости духовных основ в жизни этноса, — именно с той же стебельчатой четкостью церкви в древнерусских городах тянули к небу побеги своих колоколен.

Поражает эта будто бы избыточная краса, почти необъяснимая с точки зрения ее земного применения, какой-то практической корысти. Если стройность таежных деревьев нам обоснует задавленная снегом кедрушка или в арку согбенная елочка, то к бирюзовому цвету горных рек и озер привыкнуть невозможно, каким химическим и оптическим анализам ни подвергай это сжиженное небо. И назначение этого великолепного цвета, небесная сверхчистота горной воды так и остается Божьей тайной.

Однако продолжим наше медленное подблочное движение: вот тянем над степями Хакасии и таежными белогорьями (Манским, Кутурчинским, Канским), а вот, ведомые магнитно точной лентой Енисея, уходим все дальше на север. И долго видим беспредельные пространства болотняков, сопок и гор в штриховке тайги, просторы Туруханского района и Эвенкии до той поры, пока зачарованный лет наш не пронесет нас по-над поторанским горным чудом в таймырское арктическое Заполярье. Господи, ну за что... все это?

А вид осенней тундры с воздуха, кружевного полотна в красных, желтых, рыжих и зеленых разводах-оторочках? А озера, водопады и каньоны в столовых горах-наковальнях? А восток Эвенкии — осененные полярным покоем горы в прощальном осеннем лиственничнике? Лиственница... Самое выносливое дерево — никакое другое не выдержит ни морозов, ни мерзлоты, ни гольного проколевшего камня под ногами... Совсем иная красота по сравнению с темнохвойной тайгой, но так же струнен набор ровных листвяжных стволов, так же подчинен замыслу их аскетичный строй. Сдержанно и торжественно горит желточное пламя хвои в лучах

осеннего солнца. Когда лиственница облетит и олягут снега посеребшую округу, строгой гравюрой прорежут ее ветви серебряное северное небо.

Виджу наш край огромной дышащей картой – медленно проплывающей сквозь крап сухого снежка, сквозь опаловую дымку... Вот гора с белой проплешиной, вот тундрочка с чахлыми листвяшками и табунком оленей, вот огромная, почти недвижная река с седыми ледяными полями, вот прижатый к тайге даже не поселок – схемка построек с примерзшими к крышам дымками, и снова наплывает сизое перо, будто оберегая сердце: отдохни маленько, всего должно быть по силам. И вот, клоня крыло в развороте, уходим к востоку и, задумавшись, в мутном оконце меж облаков вдруг увидим безлюдные и фантастические ландшафты Анабарского плато... Дак это ж северо-запад Якутии! Воистину, только для карты есть границы регионов, тайга их не читает, и так же плавно переходит к соседней Якутии и Иркутской области, и так же тянутся к востоку непостижимые пространства земной плоти.

Но что нам эта плоть без людей?.. И как мал человек по сравнению с пространством... Как длинна дорога по тайге или реке, каким чудом встает вдруг поселение, городок, город, окружая огнями, вечерним уютом, так обманно скрывающим далекую сопку с тайгой, белый ли кусок тундры или пласт озера. Когда много дней проводишь в дороге в ожидании этих огней, обшарпанной заправки, столовки с немыслимым ужином, то великим счастьем станут расступившийся лес и горстка домишек.

Или засыпанная снегом избушка, к которой подходишь на лыжах еле живой и ведомый лишь одним знанием, что в ней дрова, береста, еда, да спасительные тепло и отдых. Что через час здесь будет жарко от железной печки, красно светящейся сквозь ржавчину, и весело от янтарного света керосиновой лампы... И синим квадратом будет густеть тайга в окошке, переваливаясь безлюдными верстами за горы, реки и озера.

И настолько несопоставимы площади пространств и площади населенных пунктов, что даже в большом городе не отпускает чувство условности этих огней, магистралей и торговых теремов. Шаткость их по сравнению с силой земли, с ее скрытым взором, зрячей плотью, будто наблюдающей, оценивающей, насколько мы ее достойны, насколько бережем.

Трудовая краса и запредельная рациональность выживания, бытовая тяжесть природы и человека воспитали себе под стать. И действительно, какая внутренняя стать, какая сила традиции и культура бытия народились на этих просторах! Какое многообразие народов! Хакасы и тувинцы – тюркский люд Южной Сибири, с какой-то жилой привязью к древности, к великой степной тайне, к земной тверди. Кажется, раздвинешь ковыль, приложишь ухо – и оживет она гудким бубном шаманки, конским топотом, космически таинственным голосом хомуса... А жители северной тайги – эвенки, кеты, селькупы, и якуты на самом востоке, таймырские ненцы, энцы, нганасане и долгане... Ну а уж русское население... Да еще с целой поднародностью – сельдюками, с великими традициями промысловой культуры, с ангарскими и енисейскими особенностями уклада. С целым миром, вобравшим и сохранившим дух, прежде повсеместный на Руси, а теперь оставшийся островами и являющийся нам перво-наперво в истинно русском языке.

А украинцы, а немцы, многие из которых стали настоящими патриотами Енисея. И подходим к сокровенному... Старообрядцы, добавляющие строгий свой строй в сибирский заповедник русского духа... Сколько про них сказано, написано, кто-то их любит до обожествления, кто-то копит к ним претензии, но забывает о главном: староверы – это единственное на Руси сословие, пронесшее незыблемость уклада сквозь века.

Не забуду ярчайшей картины енисейской жизни: осень, старинное сибирское село Ворогово. Даль Енисея, такая огромная, что берега глядятся тонкими нитями на фоне бескрайней воды. Крепкий северный ветер вздирает воду до мельчайшей голубоватой пыли, которая висит над поверхностью воды туманным пластом. У берега кормой в Енисей и носами в берег стоит десятка три огромных деревянных лодок с моторами. Лодки раскреплены растяжками и стойко

держат ветер, хотя их то и дело вздымает прибрежным валом. На лодках висят моторы, кажущиеся маленькими по сравнению с длиннющими их корпусами. Видны дистанционные управления из жердей, из тросов, разнообразные передачи и многое другое. На некоторых особо больших лодках стоят тракторные дизеля и сколочены дощатые рубки. Из жестяных труб идет дымок, его ключья срывает ветер. На палубе одного из судов стоит корова.

Есть лодки и вовсе удивительные – почти целые пароходы из гофрированного железа, угловато сваренного на притоке Енисея Дубчесе, в поселке Сандакчес. Вся эта флотилия и выехала оттуда, с этого старообрядческого поселения, чтобы затариться перед долгой зимой. На берегу целая толпа: бородатые мужики, женщины в платках с прямыми открытыми лицами и ясными глазами, белоголовые мальчишки в рубашках-косоворотках...

Будто сама Русь взглянула в душу прозрачными своими очами.

Знаю одну старообрядческую семью... Глава – человек, думающий о происходящем и в мире, и в самой России. Особенно его беспокоит разлагающее воздействие массовой культуры, пропаганда порока, разжигание страсти к деньгам. Он называет это коротким и емким словом «скверна».

Конечно, трудно выстоять. Революционно меняется жизнь в самых даже таежных углах, куда все напористей дотягиваются прогресс, глобальные процессы, рушащие все традиционное, патриархальное.

Удивителен национальный и человеческий замес нашего края. Век за веком крепчал здесь русский человек, брал лучшее у коренных народов, привносил свое, вживался в местности, гибко и вдохновенно отражал многогранные лики природы. Учась отвечать на каждый порыв пурги, отблеск неба и оттенок снега, не щадил рук – и вот оброс и ошетинился от ветров и морозов целым арсеналом удивительных предметов, для изготовления которых требовались предельная чуткость к природе, знание ее законов и распорядка. Вспомним камусные лыжи, долбленную лодку, берестяные кибася (груза́ для невода или сети), традиционные ловушки кулемки – все те изобретения, что по инженерной красоте, совершенству, замыслу и выразительности образа являют собой бесценные образцы культуры. Рука об руку с этими братьями человек, войдя в мастеровую, рыбацкую, охотничью силу, накрепко соединился с тайгой и рекой и обрел неразменный дар смысла и правоты, лада и автономности.

Какую страницу жизни Красноярского края ни отворить – все заслуживает монументального литературного повествования: и история енисейского флота – с северными завозами по шугующим рекам, с подъемом весенних караванов через пороги Подкаменной и Нижней Тунгусок... И жизнь зимников, связывающих зимой отдаленнейшие поселки, морозные вахты бессонных водителей, то впивающихся красными глазами в сахарное полотно дороги, освещенной фарами, то зимогорящих у горящих скатов возле заглохшего «Урала»... Золотодобытческие будни Северо-Енисейского района... Шоферские были Усинского тракта с гололедами на серпантинах и лавинами... И еще дальше, глубже в морозную мглу: железная дорога Абакан – Тайшет, великие стройки на реках, и 503-я стройка, и Норильск... И Ангара... И вечный разрыв между индустриальным и патриархальным, между святой тягой сохранить неприкосновенную природу и годами отлаженный уклад и нуждой в индустриальной мощи страны, в военном щите, в энергетической независимости... И тянется одно за другим – и обстановка в мире, и лакомость Сибири для врагов... И активизация темных сил в мире, и усиление их агрессии по отношению к России, и противостояние чужому и чуждому нашего, русского, глубинного. Поэтому особо хочется выделить связанное с культурой, духовной сферой, обозначить точки подвижничества, без которых немислима жизнь любого региона. Это музеи и библиотеки, работа в которых лежит всегда почему-то на плечах женщин. Неброская, кропотливая и изнурительная.

Это, конечно же, монастыри и храмы, число которых с Божьей помощью прибывает. Работают Свято-Троицкий мужской монастырь в Туруханске, Спасский мужской и Иверский

женский в Енисейске, Успенский мужской, Благовещенский женский в Красноярске, Красноярский Знаменский скит, скит Новомучеников Российских на Монастырском озере в Енисейском районе. Строятся церкви. Возведены крупнейшие Крестовоздвиженский собор в Енисейске, храм Рождества Христова в Красноярске...

Никогда не забуду картины: огромный трехпалубный теплоход с православной миссией идет по Енисею в сторону Красноярска, возвращается из паломнического рейса. На борту духовенство, работники культуры, артисты, иностранные гости. Все очень серьезно, ответственно и торжественно. Мы останавливаемся в одном поселке и с радостью узнаем, что как раз здесь наш знакомый и знаменитый по Енисею батюшка. На катеришке он идет вниз – тоже паломнический миссионерский поход.

Мы отправляемся к нему. На Енисее север взрывает крутой вал. Катеришка стоит в закутке, в проточке. Поднимаемся по трапу. Заходим – в темноте видим двух людей, согнувшихся над машиной. Окликаем: один из них капитан, другой – батюшка. Батюшка разгибается, ступает к нам, приветствует. Просим благословения... Рукава батюшкиного облачения засучены по локоть, руки по локоть в масле – он снимает головку у дизеля, который погнал ли масло, застучал ли... уж не помню. Помню только, что не спали они сутки или двое, что только что поднимались по Сыму, где сели на косу (вода падает), еле слезли, потом забарахлил дизель, и они пошли назад. Ну что добавить? Никогда не забуду батюшкины руки в автоле и ссадинах, усталые, с почти горячечным блеском глаза... Мутный, цвета холодца, весенний вал на Енисее, снег, ветер...

Как это все уместить в одной голове, душе? И крепкую дату, и вопрос: чего это юбилей-то? Административного образования или все-таки чего-то большего? Может быть, это напоминание о любви и терпении, потому что только любовью и терпением и можно этот ступок проблем одолеть, эту бухту надрызглую, неподъемную... Терпением и памятью о тех, кто перетаскивал парусные кочи с Таза на Турухан... кто жизнь клал... шел, строил, стелил... дороги бил, створы по берегам ставил, лечил смертельно больных, как святитель Лука Войно-Ясенецкий.

Льется кровь на Украине, идет раскол славянского мира, продолжается планомерное замещение наших фундаментальных ценностей западными. Какой беззащитной выглядит и Сибирь, и наши юбилеи, и горстки староверов, и даже стройки наши, ГЭСы и ТЭЦы... И вот он, тот самый вопрос: а что же каждый из нас может сделать сегодня для родного края как части России (а в ином контексте, думаю, и не имеем права мыслить сегодня)?

Бабушка моя говорила: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Универсальная поговорка. Ноги – это наше жизнеобеспечение, теплотрассы, тепло в избах, дрова, толстые портянки, пимы и бродни. А голова – это... голова. Именно ее нам и нужно прежде всего привести в порядок. И прекратить удивляться, всплескивать руками: да что ж такое творится? И тогда события современной жизни, кажущиеся вроде бы случайными и абсурдными, обретут логику: такие явления, как насаждение идеологии потребительства и индивидуализма, примитивной массовой культуры и виртуальной реальности, разрушение института семьи, культ животных удовольствий, пропаганда содомии, блуда и аборт, клонирование и все то, что нельзя назвать иначе, чем звеньями последовательной политики духовного и физического человекоубийства. А за последние двадцать лет работа по разрушению духовных ценностей нашего народа проведена колоссальная, и поражаешься, насколько слабой, какой-то совсем уж подкожной оказалась наша советская прививка. Жаль. Думалось, она глубже.

Поэтому наша с вами главная задача, как писателей и читателей, защитить и отстоять наше духовное пространство, наработанное веками, осознанно и навсегда утвердиться в своих взглядах, поставить заслон разрушительным течениям в общественном сознании. Быть защитником дорогого.

Мировоззрение материально. Совокупность мировоззрений – сила. Есть правило общей молитвы: созидаящая сила духовного единения в том, что совместная молитва во много раз сильнее и действенней молитвы, прочитанной каждым по отдельности.

Живая верста

1.

Енисей я впервые увидел в 1974 году в начале июня месяца в Тувинской столице – городе Кызыле, где река собирается в трепетное мутное тело из двух горных притоков Каа-Хема и Бий-Хема. Там же омылся я в желтоватом его холоде, ещё не зная, что остальная жизнь так и пройдёт в этой воде.

Древними каменными глазами смотрят горы на слияние двух Енисеев. Степные склоны терпко и душно пахнут полынью, кустики которой, как ёжики, пятнисто покрывают округу, и запах этот, кажется, пропитывает самое слово Тува. Небывало стойким и пронизывающим ароматом исходит растеньице, измученное летним испепеляющим зноем, зимним жоговым морозного ветра. Так бывает иссушенный жизнью человек поражает своей стойкостью, сохлой горечью смысла.

В далёкую и светлую ту пору края стояли теснее и крепче касались друг друга плечами. Да и учителя делали для нас всё, чтоб мы развивались, двигались, впитывали запахи удивительной нашей земли. Зная мою книжную, картовую одержимость Сибирью, учительница моя по биологии Галина Анатольевна отправила меня со своими знакомыми в противочумную экспедицию на юго-запад Тувы, в посёлок Мугур-Аксы.

Добирались мы в Кызыл из Абакана на автобусе по Усинскому тракту – ещё старому, в прежнем очерке перевалов. Заезжие дворы, КраЗы, «Колхиды» с полуприцепами, борщи, сметана и компоты в гранёных стаканах, шоферюги с подносами... Выехали ближе к вечеру, и помню, вдали по правую руку проплыло Шушенское за плоским полем, и дальше от Танзыбея по мере сгущения сумерек стала завязываться и восставать горная таёжная плоть. Таинственным образом связанная с сумерками, она поразила отвесным надвиганием сопков, чёрной густотой тайги, ночной массой кедра, елей, пихт. В городе я часами глядел на карту Сибири. Горы были смугло-коричневые, пеклого крепкого цвета, и я так и представлял места – порой голые, коричневые с одинокими картинными деревьями, как на книжных иллюстрациях... Лесистость оказалась внезапной и сплошной, тайга если уж подступала, то облепляла каждую сопку с немыслимой густотой, и тесня, надвигалась, боролась за каждый метр обочины.

Когда начался первый перевал, Кулумыс, стали хорошо слышны все переключения передач, тона двигателя, которому вдруг стало трудно в упор. Автобус ехал на первой передаче медленно и натужно, и когда разворачивался на петле, то утыкался фарным светом в скалистую стенку с кедровыми корнями. Переключение, разворот, и длиннющий «Икарус-66» еле помещается на площадке, снова разворот – и снова вверх по петле. И снова натужная работа на первой, пешей передаче и заползание на петлю. Становилось всё кромешнее, и горы ближе и выше подступали чёрными стенами и сильнее мешались с ночью. Наваливался сон, какие-то отрывки картин, мучительная борьба – и со сном, и с этими образами небывалого, восхитительного въезда в Саяны.

Потом я задремал. Помню этот томительный полусон, когда вместе с режущим утренним светом раздался вдруг негромкий голос Эдуарда Леонидовича, начальника отряда: «Он спит, дурак!» (Мол, вместо того, чтоб смотреть.) Дураком быть не хотелось, и я как ни в чём не бывало пробормотал: «А?!»

Дальше был Арадан. Название Эдуард Леонидыч произнёс так, будто родниковое это слово означало не посёлок с домишками, а нечто важное и огромное, связанное со всем происходящим в эти часы, и мы повторяли, что, мол, да, понимаем, как же, это ж Арадан! Арадан.

Кроме нас с Эдуардом Леонидычем ещё ехала Люда, студентка-вечерница и сотрудница института. Ещё двое, студенты, семейная пара с собаками, перебирались через Саяны на попутке: в автобус их не брали.

Лился, сыпался в окна автобуса свежайший росистый свет, смешанный с зеленью тальников, берёзок, лиственней... Горной тайги, пышущей, жмущей всепронзающе со всех сторон, готовой поглотить дорогу, посёлок и человека...

Ещё из того утра: Ус, ребристо мелкий, в перекатах и шивёрах. Я впервые увидел пенные гребешки горной реки и, путая Дальний Восток и Сибирь, сдуру подумал: а может, это рыба поднимается на нерест? Ещё помню деревянные мосты через Ус и высоченные скалы над рекой. Но самое сильное впечатление на меня произвёл остроконечный свечевой очерк елей и пихт, в отличиях которых я толком не разбирался, но мгновенно почуял неповторимый сибирский строй их силуэтов. У меня с детства обострённое чувство места – я мгновенно отмечал, переживал и берёг черты увиденного. И ещё был кусок дороги по-над таёжным провалом, всё те же свечи елей и пихт и далеко внизу лежащая грузовая машина – ржавыми мостами вверх.

Ближе к Кызылу поразила долгожданностью, классическим обликом бескрайний сопчатый развал, поросший нежнейше-зелёным лиственничником. Глядя на него, я всей душой понял, что это и называется морем тайги. И конечно наблюдал, как изменилась тайга на светлохвойную, как суше стала местность, а потом вовсе перешла в горную степь. Примерно в этом месте мы проехали маралытник с маралами за загородкой на полустепном склоне. Потом открылся Кызыл в степной котловине, окружённой каменным многоверстием – бесчисленными треугольниками, складками, тенями, жилами, каменными цепочками и поясами. Куда ни глянь – мреющие сопочные дали, слои синевы... Марево, настолько переполненное тайной и зовом, что и внутри синий туманчик завязался, доводя до озноба плавкую душу.

В Кызыле мы встретились с Алексеем и Мариной. Они переваливали Саяны на «Колхиде» – с двумя собаками, западносибирской и карельской лайками. Описание этого предприятия сопровождалось шуточками и будто бы эвенкийским акцентом: «Шапёр, шапёр, перефеси через Саяны». Алексей, коренастый грузный парень, крупным лицом несколько напоминавший мамонта. Был он страстный охотник, ценитель оружия и мастер по боевым искусствам.

В Мугуры мы летели на Ан-2, а перед этим неделю ждали вылета – был закрыт облаками перевал через Цаган-Шибэту. Каждое утро ездили в аэропорт, где знойность и мреющий расплав далее ощущался особо сильно и где, завораживая, звучали в репродукторе названия посёлков: Тора-Хем, Кызыл-Мажалык, Сыстык-Хем, Тээли. Там же ждали рейса два мужика в выцветше-зелёных энцефалитках и с медвежонком на поводке. Загребая лапами, он крутился на поводке, и, когда ошейник врезался, шея казалась совсем тонкой. Иногда он начинал ворчать, и тогда ему давали бутылочку с молоком. Он ложился на спину, обхватывал её лапами и сосал, издавая неожиданно моторное мурчание-бурчание, такое дыр-дыр-дыр на одной ноте.

Жили мы в пятиэтажке за телецентром в квартире противочумника и начальника истреботряда Игоря Крюкова, друга Эдуарда Леонидыча. Крюков был в поле.

Ждём погоды. Гуляем по Кызылу, бредём по асфальтовой дорожке вдоль топольков. Перед нами идёт на каблучках русская худенькая женщина с аккуратной причёской, с каким-то прихотливым сооружением на голове, крахмальной вуалькой. Люда с Мариной прыснули над нравами захолустья, а Эдуард Леонидович осадил их жёстко и, думаю, навсегда: «Вы в чужом городе, а не у себя в Москве, поэтому учитесь уважать людей».

Потом летели на Ан-2 над горами, и снова узнавал я родное и долгожданное – треугольные сопки с лиственничником по «северам», северным склонам. «Севера» более влажные, а в центральноазиатской суши каждая капля важна. Летели километров триста, и кроме этих сопкок с листвячком ничего не помню до самого Цаган-Шибэту.

Удивительна юная память: летел бы сегодня – и намного больше бы увидел, запомнил... Видно, глаз девятиклассника ещё не прилачился к такому количеству земных морщин, и неразмаятая душа только училась повторять и учить жизненные складки.

Всё выше возносились хребты, и вот мы летим через Цаган-Шибэту по ущелью, и уже вровень с нами гранёно лиловеют вершины и всё назревает что-то сотрясающе-грозное и великолепное, какая-то развязка, прорыв... Это чувствуют и мы, и самолёт. Дверь к пилотам открыта... И вот наконец... сквозь прозрачный и дымный диск винта я вижу нечто ослепительное и снежное – белый купол-одеяло, под которым лежит, чуть подняв колено, что-то огромное. А понизу сияющий этот купол держат чёрные лапы-рёбра. Это Монгун-Тайга. Высота её без тридцати метров четыре тысячи. Как она сияла в тот день!

Мугуры стоят между небывалой этой горой и Цаган-Шибэту. Горная степь. Складки. Все жёлтое, сияющее солнцем. Вершины повыше и поострей – лиловые, на одной будто надета меловая звезда, и два сыпучих луча смотрят на нас. Её зовут Звёздочка. Ак-Баштыг. На ней пятиконечная осыпь белой щебёнки. (Каких только я не слышал предположений об этой звезде – от того, что это ледник, до того, что звезду нарисовали специально.) Мугуры. Деревянные домишки, овцы... Едем по посёлку, потом на противочумную станцию. Там полно народу, работяги, выжженные солнцем, иссушенные жизнью. Иркутяне-противочумники. На практике из Москвы Сунцов какой-то, нечеловечески коричневый от загара и в белой энцефалитке. Все дико загорелые, запечённые солнцем.

Наконец загрузились в ГАЗ-53 и поехали... Лагерь должен был стоять на речушке Каргы, ниже Мугур по течению километров двадцать пять. И километров десять не доезжая монгольской границы. Ехали по степи меж сопок. Сопки рядами, за ними и над ними Монгун-Тайга. К Каргы пробирались меж игрушечного мелкосопочника по ущельицу поразительной каменности. Остановились у выцветшей палатки, истяннутой растяжками до серповой гнутости плоскостей и граней. Из неё выныривающим спорым движением выбрался круглоголовый бритый и ладный парень, Валя Рыльников. Такой же жжёно-загорелый и в том же выжженном до соляной белости энцефалитным костюме. Выкинул и скрутил спальник, ослабил, освободил и скатал палатку и, швырнув в кузов, запрыгнул и сам.

Ущелье вывело к пойме Кыргы, зеленой ленте, образующей полный контраст с каменной иссушенностью окрестности. Густые тальники (ивняки) высокие шатром и редкие огромные лиственницы. Речка – узенькая, сине-молочная меж обломков сине-дымчатых скал. Поверхность скал в мелкую волну, как застывшая рябь...

Ставили палатки. Распутывали растяжки, решали – что куда. Заминка, путаница... Говорю, мол, туда и так надо: оказалось правильно. Лёха Миронов, студент третьего курса, сказал умудрённо: мол, у самого юного-то «глаза-то молодые, всё смекнул». Лёха всегда находил для меня поощряющее слово.

Собирались, готовили и ели в большой армейской палатке – прямоугольной с шатровой крышей и матерчатым переплётom окошек. В ней стояла и печка. Остальные палатки были редкие для того времени – не выцветшие-зелёные, а из особой синтетической ткани, жёлтые и с тентами. Вечером в каждой горела свеча, и они, налитые светом, вид имели и дивный, и нездешний. Моё житьё на Каргы было пронизано задумчивым шумом её воды, звуком вечерней Валиной гитары – он всегда брал несколько одних и тех же торжественных аккордов перебором – видимо, разучивая.

Речушка узкая, неглубокая в летнюю воду, грузовая машина переезжает в широком месте. Высота над уровнем моря 1800 метров. За речкой горная степь вздымается вверх, уходит к подножью Цаган-Шибэту – в одну линию, в один с ним угол – наклонной плитой. Хребет смотрит жёлто, замшево, округло, весь в складках, морщинах. Недавно я узнал, что именно эта краевая гряда Цаган-Шибэту называется сложным монгольским названием Буршбан-умунсаланы-нуру. А Цаган-Шибэту переводится с монгольского как «белая ограда».

В один из первых же дней я умудрился взобраться на небесную эту ограду и, пораженный видом, долго простоять на высоте, откуда открывались даль, простор, собранный из бескрайних и предельно далёких горных цепей. Сотня вёрст спокойно и прозрачно пролегла от моих стоп до горизонта. На западе лежала юго-восточная часть Горного Алтая, хребет Чихачёва, южнее на юго-западе в Монголии виднелся Тургэн-Уул и ещё одна четырёхтысячная вершина – белый треугольник, который всегда будет частью моего душевного окоёма. И конечно, совсем рядом на западе-северо-западе вздымалась Могун-Тайга под светящимся одеялом.

Всё, что ближе, множилось в дробящихся треугольниках сопков. На каждой – гребень, как грубо проваренный каменный шов. Сквозь него, застывая бурым барашком, будто продолжала выливаться каменная жижа. Ряды треугольников, в чередовании теней, граней, жили в одной музыке, в одном ветре, как замерший прибор. ... Но это если в бинокль всматриваться. ... А так – даль на дали десятки вёрст. Жёлтое, коричневое, розоватое полотно и по нему бесконечное движение облачных теней. ... Тогда казалось – такой и должна быть наша природа, и что моё стояние по-над простором – это преддверие ещё более ненаглядных далей. Что самое огромное, воздушное и пятнистое впереди.

Сейчас могу сказать, что нигде ничего похожего не видел, хотя и обозрел множество гор Сибири.

С огненно-зелёным оттиском Монгун в глазах спускался я по склону Цаган-Шибэту, вдыхая запах полыни, съезжая по россыпям, срывая то мясистый ствол ревеня, то трубу горного лука. Лагерь жил обычной жизнью. Эдуард Леонидыч, сидя на выючном ящике, чистил ружьё. Быстро и деловито он спросил, где я был, почему не сказал, куда собрался, а потом отложил ружьё и глянул в глаза: «Ещё одна такая выходка – и поедешь обратно. На Москва».

Ни одному человеку на свете не подходило так выражение «страстный охотник», как Эдуарду Леонидовичу Седых. Было ему от силы лет тридцать пять. Черноглазый, русский, лицо узкое, сухое, живописное, щёки впалые, усы, борода – тоже сухие, в один контур берущие рот. ... При этом спортивный, худощавый, с неожиданно большими бицепсами. Горячий, звенящий, как смолёвая щепка. С рабочей городской окраины родом. Держал собак, ходил на стенд, варился в московском охотничьем вареве. Жил в Карачарове, и собак звали Кара и Чара. От него впервые узнал выражение – азартные собаки. Это – весь Эдик. Если правомерно сравнивать со зверями облик человеческий, не роняя высокого назначения человека, то напоминал Эдик охотничьего пса.

До Тувы он работал на Урале на Вишере и всё время рассказывал про Деда Мая, который возил их на лодке-деревяшке с мотором, и как однажды Май перевернулся и вывалил экспедиционный груз. Словосочетание «Май перевернулся» Эдуард Леонидович повторял много раз, и оно только подчёркивало опытность Мая и ту особую трагичность, которой окрашена беда, случившаяся с бывалым и сильным человеком.

Институт занимался очагами чумы. Её носители блохи, а переносчики – суслики и пищухи, в частности монгольская пищуха, жизнь которой мы и изучали. Жили пищухи в норах колониями. Я поступил под Валино начало и должен был, сидючи на боку сопки, наблюдать за колонией пищух на противоположном склоне. Особенное внимание уделялось всему, связанному с потомством, которое появлялось дважды в лето. Я обратил внимание, что, когда повывел второй молодняк, подростки первого помёта исчезли с колонии, будто освобождая место. Этим наблюдением я поделился с Валей, и он с горячим встречным движением воскликнул: «Правильно!» – будто меня проверял и ждал этого открытия, чтоб посвятить в пищуховеды.

Валя крепкий, синеглазый, ладный. В выцветшем энцефалитном костюме похож на солдата. Бритостью, круглой головой. ... Валя все любили. Была у него и своя грусть. «Вот через год закончу учёбу. ... И что дальше. ... полная неизвестность. ...» – говорил он задумчиво. Но не боясь неизвестности, а как раз ценя это сегодняшнее пребывание меж каменных сопков. И звучала грусть о годах, будто он в свои двадцать лет особенно обострённо ощущал текучесть

времени... Спортивный, крепкий, сокрушился: «Эх, сколько у меня силы было... Сколько силы...» – это про какой-нибудь 9-й класс. Говорил негромко, выразительно. Звучало то же юношеское чувство проходящей жизни, как у Лёхи, когда тот говорил про «молодые глаза».

Вскоре приехал Крюков с товарищем, и Эдуард Леонидыч с ними денёк гулевнул. То ли в этот раз, то ли в другой привезли барана. Как готовили, не помню – помню кровяную колбасу. И что когда разделявали, Лёха набрал кружку крови и показательно выпил – мол, полезная штука. Сидели у костра, и крюковский товарищ сказал, что у них перевернулась машина. Я зачем-то спросил: «Правда?» И он рыкнул, зачем переспрашиваю, мол, что – не верю? С тех пор стараюсь не задавать бессмысленных вопросов. Крюков был душа нараспашку. Невысокий, худой, как подросток, подвёрнутые тренировочные штаны обнажали детские почти икры. Крюков много и с жаром рассказывал, как он, к примеру, на Енисее перевернулся на плоту в пороге, так и не знаю, в каком. (В Хутинском?) Как выплывал на остров и там отлёживался на галечнике. И ещё про скалу посреди реки с площадкой наверху, где будто изба и старовер живёт. Крюков с Эдиком, разойдясь, схватились в споре, и Эдик всё наседал: «Нет, ну ты сдешевил! Я те говорю: ты сдешевил». У Крюкова был сын Санька, и мы с ним года два переписывались. Общих тем становилось всё меньше, и переписка сделалась натужной, больше по обязанности, и вскоре заглохла.

Эдуард Леонидыч рассказывал почти байку про какого-то мужика, который всех насмешил, заявив, что «поймал Иммануила», – он поймал манула. Про манула я слышал, но встречать не встречал. Однажды, сидя на боку сопки, я увидел на противоположном склоне плотного кошака с чёрной полосой у глаза. Сбегал он по диагонали со страшно деловитым видом, и эта деловитость и устремлённость говорили: он здесь настолько дома, что может меня и не замечать. Короткое время я следил за ним в бинокль. Впечатление было ярчайшим, за то лето оно пополнилось ещё многими бесценными встречами: например, в пойме Каргы ближе к Монголии нашёл я гнездо чёрного аиста на лиственнице. В нём сидели большие уже птенцы. Птиц здесь была прорва – и самых удивительных: разнообразные каменки, пёстрые каменные дрозды (ярко-рыжие с синим), улары, которых я так не увидал, и в изобилии удода. И конечно хищники – центральноазиатские канюки, которых мы звали ЦАКи», и особенно уважаемые нами балобаны и беркуты. И хотя птичья работа от меня не требовалась, изучал и узнавал я пернатых со всей радостью.

Так и жил я под лиственями, под тальниковым пологом на берегу опаловой речушки, тугой и говорливой. В свободное время ходил по окрестностям. Ловил хайрюзков на кузнечика и мух. А с утра шёл по ущелью меж игрушечных каменистых сопок, напоминающих городские развалины, – настолько организованно выглядела их иссушенная каменная кладка. И везде стоял запах полыни – горький и пряный, росли полынные ёжики и кусты караганы, с золотистым отливом стволиков.... И, как везде в степной Сибири, – саранча. Сначала я не понял, что эти толстые и добротные кузнечики – та самая саранча, которая губила хлеба и застила небо чёрной тучей. Шершаво-серые кобылки взлетали с вертолётным треском, и их задние крылышки веерно расцветали розовым или синим маревцем. Вот она оттрещала, ткнулась в редкую степную травку-щетину и растворилась, и ты бродишь, ищешь, высматриваешь, пока она снова с треском не взлетит и не ткнётся в степную спину.

Но вот добирался я до своего склона и часами наблюдал пищух, подсчитывал их, записывал особенности поведения и составлял карты колоний... И сам подсыхал, креп... Выпаривалось из души городское, столичное, капризное. И душевные жилы становились прочными, как стволики карагача.

А вечерами потрескивал костёр из лиственничных пупырчатых сучьев, таких тяжких на розжиг. Валина гитара плыла перебором, шумела Каргы, и жёлтые палатки, подсвеченные свечами, были словно крылатые светильники из прозрачного парафина. И филин ухал в ущелье. А Валя пел: «В речке каменной бьются камни». Кончалась песня словами: «И с протянутыми

руками в этой каменной стороне я бы навек превратилась в камень, лишь бы ты поклонялся мне». «Как же это по-женски!» – негромко говорил Валя. Сочетание нежности и решимости поражало его душу, обострённую одиночеством, и делясь с нами своими переживаниями, он учил вдумываться и в слова, и в музыку, и везде видеть глубину человека. Возможно, если бы не Валя, я никогда не обратил бы внимания на эти истинно поэтические строки...

Конечно, оказавшись в этой степном горном чуде, я не забывал тосковать по своей мечте – тайге. И вот стали меня отправлять по работе в хребет Цаган-Шибэту на речку Барлык. Хребет глядел на Каргы вылизанными боками, морщинами и складками, а если перевалить этот первый округлый ряд (Буршбан-умун-саланы-нуру), то дальше громоздились уже лиловые острые вершины, одна из которых мне особенно нравилась – длинная, похожая на корону, гора. Мы и звали её Корона.

Уж не помню, по делу ли, по страсти, оказался я вновь на излюбленном лбу хребта Цаган-Шибэту, откуда виднелись и лиловые забарлычные острия, и Монголия с озером Урэг-Нур и треугольным пиком над ним. И Монгун-Тайга, спящая под ослепительным своим одеялом, чуть подогнув колено. В эти минуты ниже меня и буквально метрах в восьмидесяти проплыл в свободном парении бородач (ягнятник), один из ярчайших горных хищников, которого я, как и многих остальных птиц и зверей, знал лишь по картинкам... Цветной, с чёрным верхом, рыжей грудью и чёрной полоской от глаза ко клюву. Даже полоску помню... И как он покачивался и подрагивал маховыми перьями на потоках воздуха. Меня он не видел. Я был часть горы и таинство подсмотрел.

После перевалил я в сторону Барлыка и оказался на склоне горной тундры, поросшей редкими кустиками ерника (карликовой берёзки). У ерника встречались и сухие узловатые кронки, очень хорошие на костёр. Коричневые и шершавые, они вздрагивали кучно и пружинисто, если задеть. С собой я носил в рюкзаке закопчённую банку от горошка с проводочной ручкой. В неё я и набрал снега из ослепительного зернистого снежника – пятнами лежали они среди лета на вмятинах хребтовой спины. Радуюсь, насколько всё под рукой, я черпал снег, чертя сажой по белому. Разведя жаркий и незримый костерок, закипятил горной водицы. Серебряным бугорком взбурлил мой чайник...

Я пил, полулёжа, чай, когда нежно подошла полупрозрачная туча со светящимся исподом. Пошёл сухой крупитчатый снег, колко заговорило горное небо, и счастье ровно посеялось в душу. Всё происходило само собой. Не надо было ничего объяснять ни горам, ни собственной душе. Она всё знала. И если бы сейчас я оказался в том самом месте, и пошёл бы такой снег, то я бы вмял колени в горную тундру и, мажа по щекам копотью чайной банки со слезами, молился бы ко Господу о безграничной его милости...

Барлык начинался в хребте Цаган-Шибэту, протекая по ущелью, куда мы переваливали разными способами. Просто пешком, на лошадях и даже на машине в объезд, хватая Барлык почти в самом истоке. В высокогорье не добывала степная сушь, было свежо, и тундрочка зеленела по бортам долины и по перевалам. Барлык по большей части тёк под камнями, в одном месте долины лежал лёд с замороженными рогами горных баранов. Мы прозвали это ледовое поле кладбищем архаров. Была и лужица ниже ледника. Подходили мы с Лёхой к луже и увидели на ней уток. Лёха взялся, не спуская с них глаз, стягивать с плеча вертикалку, а я запереживал-заупрашивал, мол, давай сначала сделаю снимок, а потом стреляй. Лёха покорно разрешил. Я рванулся к уткам и спугнул. До сих пор помню свой стыд и Лёхину доброту: он ни слова не сказал.

Однажды я ехал по Барлыку на коне и встретил тувинца – горел костёр, паслась лошадь. Он сидел у костра, рядом лежала ТОЗ-8 и добытый тарбаган (монгольский сурок). «Мясо сурка будем есть?» – спросил тувинец своим говорком. Ну и, мол, «нядо приготовить»... Присоединиться к обеду я постеснялся и поехал дальше.

Первый раз на Барлык мы попали по кружной дороге на ГАЗ-66. Ночевали в кошаре – шестиугольной рубленой овчарне. Утром я проснулся от звончайших, клянчающих криков клушиц. Клушицы не то по причудливой льдине били, не то по ноющему проводу. Не то льдинка по проводу проскользила, а провод с неба протянут. У клушицы клюв тонкий, изогнутый, как хирургическая игла, и густо-красный... И крик такой же острый, гнутый, оттянутый... Не передать ни этого крика, ни горной свежести. Только игла пронзает душу.

По работе мы спускались по Барлыку на несколько километров вниз, и это было праздником: чем глубже входили мы в Цаган-Шибэту вниз по речке, тем сильнее покрывала склоны лиственница. Прозрачная и реденькая, она росла только по северам. Было и ущелье Куве-Даба, где среди лиственей поставили мы с Лёхой нашу палатку... Здесь смолисто пахло тайгой, водились бурундуки, чёрные белки, а на лесной верхотуре обнаружил я огромное гнездо беркута и почему-то запомнил, будто оно на кедрике.

Идя как-то по Барлыку, я увидел небольшую площадку в скале. Забравшись, я обнаружил пещерку и лежащую перед ней косулю ногу. Едва я двинулся к пещерке, как оттуда вывалил, щёлкая клювом и огромно сияя жёлтыми глазами, здоровенный филин. Спустя миг он мягко унёсся в день, растворился потусторонней тенью. И ещё таинственней стал Барлык, и захотелось дальше уйти в Цаган-Шибэту, туда, где с каждым километром больше тайги по северам, где одно за одним отворяются ущелья и в них прозрачно зеленеет лиственничник по склону. Ещё помню, что по одному из распадков тёк ручей по имени Хемчирейлык.

Угроза чумы, огромный очаг которой находился на севере Монголии, была для меня далёкой, отвлечённой и словно не связанной со зверьём, которое мы наблюдали, – и пищухи, и суслики, и тарбаганы интересовали сами по себе. Но слова «бубонная чума» звучали нешуточно, и задача стояла жёсткая: проверить действие ядов на сусликах и пищухах. Для этого и нужен был безлюдный Барлык. Требовались яды, которые бы не накапливались в хищниках-падальщиках и не губили их, да и прочую живность. Никто особо не рассуждал: и так всё было понятно. И сусликов жалко, и пищух, которых мы с Валею изучали, но чума есть чума. Помню названия: ратиндан, дефинацин, севин, и как мы зубоскалили, представляли, будто это фамилии. «Товарищ Дефиноцин, не хотите ли ложечку?» А Лёхина жена, красавица Марина, очень смешно и нарочито манерно переставила ударение: «Де-фи-на́-цин».

Шёл по Барлыку с жестяным цилиндром на ремне. В цилиндре овёс с маслом, куда замешан яд. Кидаю его в норы большой ложкой. Потом надо будет вернуться на Барлык и смотреть в небо: если там кружат коршуны, беркуты, грифы – значит, яд подействовал.

Грифы закружили.

На перевале полянкой росли эдельвейсы – небольшие белёсые звёздочки, очень скромные по сравнению с эффектным названием. Однажды спускался с эдельвейсовой поляны к Барлыку и увидел, как с противоположного забарлычного склона трусит лиса. Она перебежала Барлык и двинулась навстречу. Я предусмотрительно поднял с земли сухую палку. Лиса подбежала и бросилась, открыв пасть. Спасла палка – лиса оказалась бешеная.

Стояли мы от Монголии километров в десяти. Пограничников особо не видели. Был случай: подъехали по вершине Барлыка меж лиловых гор к самой границе, отмеченной несколькими невысокими столбами безо всякой проволоки. Высоко над нами заметили сидящего в секрете пограничника – всех почему-то насмешила огромность круглой фуражки, торчащей с гребня горы, и то, что он в секрете у всех на виду.

Как-то раз через наш лагерь прошли из Монголии верблюды, целое стадо. Шли доисторически-мимо, сквозь нас, струнно, точнее канатно брякая ножищами о растяжки палаток, покачиваясь, играя изогнутыми шеями, будто те сидели отдельно и сложно прилаживались к шагу. Они были с обвисшими после зимы горбами, перелинявшие, в клочьях шерсти, и глаза казались особенно большими и тёмно-выпуклыми, как сучки. Потом приехали на их поиски монголы. Поразили своей ухоженностью, аккуратностью. Тувинцы были вечно в чём-

то трудово-сереньком, чёрном, засаленном. В пиджачках, фуфайках. Худенькие, обтрёпанные. А монголы приехали в малиновых с отливом халатах, в кожаных сапогах. Сами лет сорока, плотные, широколицые, ухоженные. Даже смуглость казалась особой – ровной и породистой. И кони тоже небольшие, упитанные и пегой масти – с чёрными крупными пятнами по белу. Эдуард Леонидыч пригласил их в палатку-кухню, нарезал хлеб, поставив на стол большую эмалированную миску с сахарным песком, сунул в неё две столовые ложки. Монголы пили чай и нагужали сахар на хлеб – обильно и очень медленно, будто исполняя ритуал. Когда они уехали, Эдуард Леонидыч сказал, что сахар у них деликатес.

Вскоре сквозь наш лагерь проехали на огромных гнедых конях два пограничника – у одного на боку радиостанция, квадратный блок с гибкой вихляющейся антенной – антенна словно набрана из мелких чёток. И кони, и офицеры по сравнению с монголами выглядели огромными и монументальными, как памятники. Я глядел на них снизу вверх.

Однажды в моё дежурство по кухне привалила целая машина противочумников. Кухня и столовая были в большой армейской палатке с печкой. Эдуард Леонидыч пришёл в звенящее своё состояние, которым, по обыкновению, сопровождалось его застолье с корешами-противочумниками. Я хорошо определял этот звон по смене обращения со мной. Он от меня отстранялся, приходил в роль строгого начальника, а может, стыдился моего зелёного возраста. Вот и тут, войдя в палатку, он начал со слов: «Нда, Михайло, ну и бардачок у тебя на кухне... Бардачо-о-к...» Был среди гостей и бурят Юрий Дашеевич Ачиров, орнитолог. Спокойный, солидный и аккуратно одетый человек. У него была редкая добротная штормовка, в синеву цветом и с клапаном на лопатках. На голове среднеазиатская почему-то шапочка – войлочная, белая, с черной окантовкой и похожая на бумажный кораблик – так же сплюснутая с боков. Я рассказал про увиденного бородача, но Юрий Дашеевич меня осадил: «Пока я не подержу в руках добытую птицу, я ничего не могу утверждать». Мне же казалось, что бить такого красавца ради доказательства не по-хозяйски. Да и зачем нужен орнитолог, если ему нельзя верить.

Подобные поучения не омрачали моего тувинского существования, тем более его одобрил и Эдуард Леонидыч. Когда Валя похвалил мою работоспособность, Эдуард Леонидыч, подобрев и улыбнувшись голосом, сказал, что, мол, Мишка-то ничего оказался, и добавил: «А то сначала тоже... пытался тут...» Что именно я «пытался тут», он опустил, но в попытке «сдешевить» уличил. Возможно, он намекал на мой незаконный взбег на Цаган-Шибэту.

Как помню, противочумники больше стояли в окрестностях Мугур. Заклинаньями звучали для нас «отряд Обухова», «отряд Феоктистова», «отряд Равданикаса». В отряд Обухова мы ездили в гости. Был вечер, костёр... Молодые иркутяне студенты. Особенно запомнилась пара – девушка и парень с крупной лепниной черт, с чуть дрябловатой белой кожей и длинно опущенными волосами, как тогда носили на эстрадный манер. Он и сидел, освещённый костром с гитарой. Девушку хорошо помню до сих пор – большие опущенные глаза и выпуклые веки. Лицо небольшое, и щёки тоже выпуклые, яблочно-круглые. Чуть подкрашена к вечернему выходу из палатки – с синевой на веках, на ресницах. Волосы чудно распущенные, каштановые, кольцами на плечах и на груди. Кто-то шепнул, что они скоро женятся.

Она так и сидела рядом с женихом. Опущенный взгляд, недвижная полуулыбка. Парень спел одну-единственную песню, в которой настолько нежно отражался дух той эпохи и зов молодых судеб, что я и теперь не могу спокойно её слышать и наждачок мурашей невзначай завязывается на спине.

Где олень бродит замшевый,
Сопки смотрят во тьму.
Почему же ты замужем,
Ну скажи почему?..

Он пел, и костёр играл на подсиненных веках девушки, и такая была в том костре надежда, такое чувство будущего, что мне до сих хочется отпроситься у Эдуарда Леонидыча, вскарабкаться на самый лоб Цаган-Шибэту и крикнуть на всю Сибирь: «Где вы сейчас, ребята?»

С трепетом и тревогой хожу вокруг образа старшего моего товарища, Алексея, или, как мы все его звали, Лёхи Миронова. Именно он был моим наставником в охоте, и я никогда не забуду ни его заботы, ни совета. В то лето он отдал мне в вольное пользование своё второе ружьё, вертикалку «Иж-12» 12-го калибра. Лёха был страстный охотник, но ещё и боец, сильно наторевший в каратэ. Единоборство с другими людьми билось в нём с охотничьей страстью, с тягой к природе. Он изобретал и делал ножи, вечно дрался то с милицией, то просто, и даже свою манеру боя придумал. Внешне грузный, мешковатый, начинал вдруг кружить вокруг противника, издавая леденящее помякивание. Ко мне он относился с заботой, и мы долго с дружили с ним уже после Тувы. Что-то крутило его изнутри, ломало, и война с людьми занимала особенно. С Мариной он быстро развёлся. Много всего произошло, водка навалилась... И Алексей застрелился. Не хочу ни обсуждать, ни рассуждать. Ни осуждать. Прости, Алексей, что я тогда спугнул твоих крякашей... И вообще прости.

Тогда ещё Лёха был молод, ещё с женой-красавицей, от близости которой меня пробирал озноб раньше, чем я мог эту дрожь осадить-осудить. Собаки у них были – Долай и Койву, сучка карелки, рыжая как лисица. Много набродили мы с Лёхой по пойме Каргы или по степи в надежде добыть огаря или зайца-толая. Огарей в Туве много – удивительная это утка, плотная, оранжево-коричневая, с чёрным воротничком и головкой, более светлой, будто опалённой.

Ближе к осени я всё чаще сам ходил с ружьём вверх по Каргы, где по бортам долины в расселинах скал прятались скалистые голуби. Было ещё болотце, откуда взмывали бекасы и где я шёл с ружьём наготове, с каждым разом всё стремительней вскидывая стволы и беря в прицел петляющую угластую тень.

У нас было три лошади, которые паслись на арканах на Ирисовой поляне – так мы называли поросшую синими ирисами луговину на террасе по-над лагерем. На конях мы ездили уже пол-лета, но приехавшая начальница экспедиции Светлана Александровна Шилова (знаменитая Свет-Санна) настолько рьяно взялась за наше обучение, что к середине августа мы свободно скакали верхом, и она с удовлетворением говорила: «Ну всё, ребята, вы сели в седло». Понятно, что посадка в седло подразумевала и всё остальное: рассёдлывание, подсёдлывание, привязывание лошадей и прочий уход. Два коня были вполне приличные, Звёздочка и Меринок. Звёздочка смешно надувал пузо, когда ему подтягивали подпруги, и без пинка коленом ничего не получалось. Была ещё молодая кобыла, за строптивость её звали Рыжая Сволочь.

Пора наконец сказать, что верным моим товарищем по Мугурскому лету стал Паша Рыльников, тоже девятиклассник и младший брат Вали, на которого он внешне не походил – длинновязый, высокий, с тонким профилем. Приехал он позже меня, и мы как погодки тотчас сдружились. Паша помогал Вале метить пищух чёрной краской, «урзолом», но по работе мы не пересекались. Походы на Барлык были тоже без Паши, и наше общение шло в лагере.

Как-то поехали мы с Пашкой прокатиться по плато Хурен-Тайга. Он на Звёздочке, я на Рыжей. Рыжая понесла, и я долго и тщетно бился с ней, не в силах остановить, пока Паша скакал рядом, пытаясь отсечь на склон, где покруче и меньше пищучьих нор, в которые то и дело попадала Рыжая, рискуя рухнуть и придавить седока. Кобыла несла во весь опор, и я уже бросил повод и, вцепившись в гриву и шею, свисал то с одной стороны, то с другой. Так и сползал, обхватив шею, пока она не вылетела на крутой склон и не остановилась, попав ногой в нору.

Как-то утром Рыжая отвязалась. Началась пешая и конная гонка по степям. Сделав обход окрестностей, я встретил несущегося во весь опор Валю, потом Эдика с горящими глазами и криком: «Где лошадь?» Оба были неузнаваемо возбуждены и ругались. В конце концов Рыжую

поймали и укротили, причём сделал это начальник истреботряда, имени не помню, но мужик матёрый и решительный. Невысокий, крепкий, кривоногий, он даже не кричал на Рыжую. Сказал только: «Смирная лошадка» – и забрал к себе в отряд. Истреботряд держали наготове на случай обнаружения чумной палочки и бросали на протравку местности. Набирали туда большей частью бичьё – кого после отсидки, кого просто неустроенного, потерянного. Чтобы управлять такими людьми, нужна сила, а лошади её чувствуют.

Кроме Вали, Паши, Лёхи в отряде было ещё много замечательных людей, о которых следовало рассказать отдельно и которые меня чему-то да научили – либо самим своим образом, душевным строем, либо какому-то делу уже по моей просьбе. Николай Формозов, которого я знал ещё по зоологическому кружку, преподавал мне целую школу таксидермии, в которой я оказался плохим учеником – не хватало терпения и аккуратности. После Тувинской экспедиции Николай подарил мне книгу своего отца Александра Николаевича Формозова и подписал: «В память о наших брождениях по Хурен-Тайге». С Николаем я не раз советовался по птицам и пищевухам, пока писал этот очерк.

Никогда не забыть Дмитрия Николаевича Евгенова, который несколько лет спустя после нашей экспедиции 1974 года погиб в селевом потоке на юге Тувы (река Кадый) и над которым мы, молодые дурни, подсмеивались за его несолидный нрав и словоохотливость. Много всего было... Поэтому моё неупоминание остальных участников экспедиции не означает, что забыл. Не забыл. Всех помню. Всё помню...

К сентябрю посеребрило за ночь забарлычные высоты. Побелели они как по линейке, будто в вышине разлили жидкий азот и по древним перевёрнутым законам окунули в небо горы, и те сварились, протравились сединой.

Пришло время уезжать. Свет-Санна, Эдуард Леонидыч, Валя оставались, и даже собирались на лошадях по Барлыку. Я представлял, как Валя проснётся и, откинув полу палатки, увидит белёные инеем забарлычные высоты.

Эдуарда Леонидовича я с тех пор видел два раза мельком. Первый раз в Москве в Зоологическом музее. После Тувы Свет-Санна и Валя были переброшены на БАМ, и Паша пригласил меня на доклад их экспедиции, работавшей в районе Тынды. Много было рассказано и о местности, и о том, как страдала, бывало, тайга от стройки вообще и от браконьерящих строителей особо. После доклада Свет-Санна вышел небольшой человек с горящими глазами и высоко стоящей чёлкой и с жаром выступил, возмущаясь, что отряд не воспрепятствовал браконьерству. Звали его трудно – Феликс Робертович Штильмарк. Помню, как опешили все и как Эдуард Леонидович выступил с попыткой оправдания отряда – именно попыткой выглядели его слова на фоне гневной речи Штильмарка.

Эдуарда Леонидыча я встретил несколько лет спустя съезжающим мне навстречу по эскалатору метро. Несмотря на мгновенную встречу глаз он меня, кажется, не узнал. Правда, помню всё как во сне – давно было...

А пока кончался август 1974 года. Стояла на Ирисовой поляне машина, ГАЗ-53, закиданы были спальники и матрасы в кузов. Эдуард Леонидыч крепко пожал мне руку, сказав: «Спасибо за работу» и так посмотрел в глаза, что всё существо моё жгуче отозвалось благодарностью. О том, как работать, я не задумывался – делал, как делалось.

Перевал напротив Мугур, где я впервые увидел Монгун-Тайгу сквозь винт Ан-второго, был глухо заложен облаками. Поэтому и выезжали через Монголию, сидя в кузове на полосатых матрасах и спальниках. Остановились в Монголии у озера Урэг-Нур, и помню, кто-то принёс османов, род центральноазиатской карповой рыбы. И ещё смешно проявился ехавший с нами пожилой рабочий в синей спецовке и с висячим малиновым носом. Звали его то ли Романыч, то ли Василич, уже не помню. В отрядах частенько бывает такой безобидный и вечно похмельный Романыч, над которым все потешаются.

Потом долго ехали по ущелью, пересекая монгольское продолжение Цаган-Шибэту. Высоко в ясном и глубоком небе кружило несколько десятков грифов и белоголовых сипов. Крылья их были необыкновенно широки. Откуда взялось такое скопление, мы так и не поняли. А на выезде в степь встретился монгольский караван. Передом шла древнейшая бабка с трубкой, выжженная и морщинистая, как окрестные горы. Помню смутное впечатление от седла – будто оно деревянное и расписное, с высоко и овально торчащей лукой. Потом дорога шла по огромной и плоской степи, изредка мы проезжали стоящие вдали юрты, а через какое-то время увидели с востока далёкое и почти миражное зеркало Убсу-Нур.

Обратно переезжали границу в Хандагайтах. Остановились у речушки, где под талиновым деревцем сидели мужики, один из которых протянул мне рыбкину: «Малосольный хариус. Пробуй». Долго ещё я повторял это сибирское словосочетание как заговор или строку из стихотворения. Нёс с собой через городскую жизнь, как ключ от увиденного, как надежду на возвращение. От Хандагайтов дорога шла на север и пересекала хребет западный Танну-Ола, не такой высокий, как Цаган-Шибэту, но спасительно поросший тайгой. С жадностью прожирал я глазами просторное и весёлое нагромождение треугольных сопков. Поначалу лиственничник шёл только по северам, но вскоре и все треугольники оказались покрытыми стройной и прозрачной смесью лиственницы, кедра и ёлки. В особо прекрасном месте у речки под лиственницами стояли армейские палатки и «ГАЗ-66», видимо, экспедиция.

Наконец перевалили Танну-Ола и долго ехали по степи на восток вдоль разнообразнейших хребтов и сопков, чувствуя, что приближаемся к цивилизации и заканчивается не только лето, но и целый пласт жизни. Разрывающей грусти и тоски я не ощущал, всё шло так же плотно – клинышка не вбить.

Из Кызыла ехали на автобусе. Неподалёку, едва поднялись в хребёт, сели ребята, чело- века четыре, с рюкзаками, в одинаковых выцветших штормовках. Один, видимо, начальник, запомнился особо – рослый парень, с широко расставленными глазами. Взгляд его пылал серым пламенем. «Коля нужны?» – требовательно упёрлись в меня стальные глаза. В руках у него была копчёная тренога от костра. Взгляд трепетал гордостью, упоением своей работой, её нужностью. В автобус их посадили, едва он пошевелил рукой. Видя наши восторженно-недо- умённые глаза, сказал: «У нас такая работа. Что нас везде и подвозить, и поить, и кормить будут». Кто они были – топографы, геологи, не знаю. Но как хотелось иметь такую работу!

Спустя сорок четыре года мы с Павлом Рыльниковым собрались в Туву. Поехали на машине из Красноярска, куда Паша прилетел из Москвы. После 1974 года в Туве я был лишь раз зимой, и то в окрестностях Кызыла. Сейчас стоял конец июня. На окраинах Кызыл оказался совершенно прежним, а в центре неузнаваемо ухоженным, отстроенным. Каменные глаза гор смотрели из-за Енисея с новоброжденной силой... Жёлтые складки, тени, цепочки камней ещё сильнее лучили тайну.

Чудно устроена память. Гора Хайыракан (Священный Медведь) не доезжая Шагонара оказалась справа от дороги. Сорок четыре года назад, стоя на коленях на спальнике и держась за передний борт кузова, я заметил и хорошо запомнил эту зубчатую сопку, похожую не то на корабль, не то на кристалл из особого, белёсого минерала. Но в памяти она осталась удаляю- щейся не с той стороны дороги, где на самом деле располагалась. Всю жизнь Хайыракан стоял перед глазами зеркально. Ярчайшая гора эта была важной отметиной на нашем возвращении в Кызыл в 1974 году. Не то корона из беловатых треугольников, не то почки тянутся к синему азиатскому небу. Не то розетка горного молодила, каменной розы. Не то огромные птенцы каменного дрозда простирают к небу раскрытые свои клювы.

На Барлык давно отсыпана гравийная дорога, на которую мы и свернули, недоезжая Хандагайтов. К Барлыку двигались по речке Арзайты. Всё близилось и близилось место, снив- шее столько раз, что не узнать, где вправду виденное, где начертанное измученной памятью. И где же он – зубчатый гребень Короны и антенная сеточка лиственниц по северам? Распадки

по южную сторону, отворяющие новую даль? Пока только степной склон, светлая замша, с зябью, рябью, какая бывает, когда гора выбита козыми и овечьими копытами.

Барлык – это река, впадающая в Хемчик, приток Енисея, и питающая мой Енисей, а значит и меня. Барлык – это мечта и тайна, но сейчас мы вторгаемся в неё с изнанки, против шерсти.

Наконец въезжаем в Цаган-Шибэту. Мост, щит с надписью «Барлык», и Барлык – долгожданный, настоящий, то блеснит, то теряется в месиве камней, следах какого-то сноса, селя. Мы едем всё глубже и глубже по клину ущелья, нас уже не выдернуть из этой рубанины, обжима, но всё равно не верится и страшно остановиться. Колёса, ошупавшие скальную гребёнку Алтая, Саяна, Забайкалья и Приморья, с азартом припадают к щёбёнке Барлыка, вышаривают куски поровней, чтоб покатиться без тряски и дрожева...

Склоны как по линейке спускаются с небес, и вот нежнейшие лиственницы по северам, а над ними лиловые вершины со снежком по складкам. Скалы, то в косую насечку, то тёсанные накрест, будто перерубал кто-то неверную работу. И видна вдаль гора, напоминающая Корону, но, видимо, какая-то другая – ведь таких гор много и в Саянах, и в Прибайкалье: когда будто на острых кольях навешена лиловая шкура, а провисы особенно выразительны – столько в них размаха, разлёта и тяжести. Хорошо, что до Короны далеко: ведь ещё вёрст полста до перевала, с которого откроется вид на Монгун-Тайгу, Алтай и Монголию...

Едем по гребёнке, и вьётся сзади лежащим смерчем белёная пыль. Вот проехали коронообразную гору и остановились у ущелья, очень похожего на Куве-Даба, где под листвениками стояла наша с Лёхой палатка и прыгала по шершавым сучьям белобрюхая чёрная белка. Напротив ущелья высоко на каменистом гребне круглое око в скале, в нём светится небо. А впереди смертельно знакомый округлый бок горы, Барлык уже скрылся под камни, и долина всё выше забирается в горы. Борта её становятся ниже и покаты, кругом складки, и зеленеет купоросной побежалостью горная тундра. Мы при таинстве речного рождения, у точки спасительного водосбора души, где небесная вода осаждается тихим бисером и серебряные бьют родники.

Холодея, вижу, что совсем немного Барлыка-то осталось нам с Пашкой. Что Корона-то именно та Корона, что такой Короной раз в жизни венчают и её не спутаешь, как и ущелье Куве-Даба, и вещий глаз в скальном трезубце...

Перед своротком на перевал встаём. Тянет студёным горным ветром, пробирает до костей – пью его с наслаждением. Вот кошара, откуда я слышал утренние крики клушиц. Вот зеленца по складкам и ложбинам, и по верху склонов замша с золотцем напросвет. Протираю ею ненасытные очи. Вот моя горная тундра, вот эдельвейсова поляна вверху, а ещё выше, небесней – место, где я пил чай у костра из сухого ерника. И шёл снег.

А дальше... Дальше был перевал на трёх тысячах, и спуск по серпантину, и ёжики полны по бортам... А что случилось потом? Олучило, освятило, ожгло?

Да. И олучило, и освятило, и ожгло... И просквозило. И вывернуло душу и повешало, как на колья... доходить на горном ветру... Сорок четыре года они ждали: Монгольский хребет с треугольной белой вершиной, Хребет Чихачёва и Монгун-Тайга, нежно подломившая колено под сияющим одеялом. Ждали, копили мою любовь – и в сорок четыре раза сильнее ударили в сердце. Провернув в нём алый свой клюв, прокричала клушица. Дрогнул бородач маховыми перьями, перебрал горный воздух, переложил руль хвоста к Монгун-Тайге. И сказала Монгун-Тайга бывшему школьнику, видевшему вулкан Менделеева на Курильской гряде: «Стой и помни. Нет нигде подобного места, и навеки оно в истоке судьбы – твоей и твоего Енисея».

Под вечер искали лагерь, берег Каргы, точнее, место, где он когда-то стоял. С плато Хурен-Тайга по каменистому распадку спустились к речке, первый раз свернув рано и промазав. Тихо ползли меж каменных стен и обочин, поросших караганой с золотыми стволиками, переваливались через каменные ребрины-рельсины, пока не упёрлись в Каргы. Ходили, споря,

узнавая и не узнавая, пока Паша не крикнул: «Оно! Вот Ирисова поляна». Это была она. Мы вернулись к машине и въехали в наши тальники.

Они были чужие, молчаливые и неузнаваемые, а вода Каргы цвета извёстки с бирюзой была высокой и скрывала синие обломки. Разведя костёр и поставив палатку, долго ходили по месту, где когда-то стоял лагерь, но не нашли и следа. Даже листвень, в которую мы дуром метали топор и ножи, исчезла. Приходилось пригибаться: так разрослись тальники, и были в пучках седой травы, в налёте речного ила, в какой-то первозданной всёстирающей и вневременной пыли... Ни намёка на кострище, ни старой затеси, ни колышка – ничего не напоминало о жёлтых светящихся палатках со свечами. Не лился Валин перебор, только Каргы шумела так же задумчиво и отстранённо-домашне. Мы вернулись к костру, и всё-таки прозвучал перебор и проплыла песня про речку-каменку... Отдельно, приглушённо проплыла и не приживляясь к месту. К илистому напылению тальников.

Полуночью мы отправились в Мугуры. Я думал, завалимся на противочумку, поговорим с мужиками о былых временах, а может, споём про «замшевого оленя» и читаем стихи... До противочумки доехали. Она была уже не деревянная, а в синей пластиковой обшивке. Долго стучали в ворота. Открыла выжженная солнцем старуха-тувинка. Потом из дома вышла тувинка помоложе и, всем видом показав, что не знает по-русски, ушла, закрыв дверь. Старуха хрипло пробормотала: «Все уехали. В Кызыл уехали». Никаких иркутян не было, никаких Обуховых, Феоктистовых и тем более Равданикасов. Они уехали вместе с теми годами... Стоит ли повторять, какой удавкой для окраинного русского мужика обернулось ослабление державы, когда под шумок развала было сделано всё, чтоб мужик этот перестал себя чувствовать дома.

Потом мы поехали на озеро Хиндиктиг-Холь, и были сарлыки², с коровьими, медвежьими, собачьими мордами... Чёрные, белые, пятнистые, с острыми и развесистыми рогами, с водопадами хвостов, со спинами то лохматыми, то стриженными, и с юбкой-бахромой из мутно-дымных прядей. Юбки были пояском врезаны в ячи тела и выпукло лились по сторонам. Пряди колыхались, а если были особенно густы и обильны, то в каблучках копыт мерещилось что-то женское.

Когда мы замешкались, ища нужный свороток, издали подскочил объяснить дорогу выжженный до черноты тувинец, тряско влитый в седло... Мы попытались объехать Монгун-Тайгу с севера и почти добрались до Хиндиктиг-Холя, но после перевала колея почти исчезла в болотине, заваленной огромными серыми булыганами. В версте внизу плоско стоял во льду Хиндиктиг-Холь. За ним на Алтае, верстах в двадцати, вытекал из Ждулукуля узкий бутылочно-зелёный Чулышман. Я доезжал до него из Барнаула.

На обратном пути над Цаган-Шибэту раскинулась туманными шторами могучая гроза и, зацепившись за вершины, так долго и упрямо стояла, что казалось, огромный и свинцовый сарлык распростёр над хребтом клокастую и дымную дождевую юбищу. Взошла радуга на пятнистом от полынных кустиков склоне, и перед машиной села пара огарей. «Ты заметил, что нет пищух?» – вдруг спросил Паша. Пищух действительно не было. Что-то с ними случилось. Возможно, их убрали как память тех лет вместе с нашими кострищами.

Мы уехали к заставе и переночевали на берегу Каргы, а утром, поднявшись на перевал, спешили. Даль так же верно лежала у ног. Зелёной ниткой с точками лиственей тянулась внизу Каргы, плато с мелкосопочником не лежало, а стояло на ребре, клонясь на нас, будто его подпёрли подножьем Монгун-Тайги. Уходя ввысь, оно громоздило треугольники, проваренные бурым камнем. Над ними висел белый купол Монгун.

Когда ехали обратно, я особенно внимательно смотрел на горы и несколько раз останавливался. В одну из остановок клушица села на бетонный столбик и чиркнула льдинкой по проводу памяти.

² Сарлык – серлук монгольский или тибетский – крупный рогатый скот, як.

А я ехал уже по её шерсти, исполняя зарок полувековой давности и зная, как узок Цаган-Шибэту на Барлыке. И как короток оказался бы путь, пройди я тогда ещё километров десять – туда, где Цаган-Шибэту отверзается распадком Арзайтов и маячит вдали просвет долины... Там Барлык *навсегда* уходит из Цаган-Шибэту в разлом меж началом хребта Танну-Ола.

Мы уезжали по Арзайтам, а Барлык, отдаляясь, ещё был всюю горным и заповедным. Вдоль него по той стороне шли две манящие колеи.

2.

Вторая, по сю пору длящаяся встреча с Батюшкой-Анисеем, случилась уже в 1978 году. Я прилетел в Красноярск, где меня с головой оворожил утренний сладкий запах листвяжных дров, плывущий от одноэтажных сибирских домишек – пропылённых, прокопчённых и будто засаленных. Стояло студёное утро. По тротуару бегала трясогузка, и я мгновенно отметил её сибирскую черногрудость: всё сибирское казалось особым и драгоценным.

Самолёты летали едва не в каждый посёлок и один за одним взмывали то в Заозёрный, то в Кежму, то в Богучаны. Порт ломился от народа, спали кто на полу на куртках, кто в спальнях мешках. Через несколько часов я улетел в Бор (Подкаменную Тунгуску), откуда надо было попасть за 120 километров в Мирное, где стояла экспедиция. Там работали зоологи, мои друзья по школьным годам.

В пору моего детства в Москве работало несколько зоологических кружков, ведомых энтузиастами, где и выпестовались будущие зоологи. Мой кружок располагался почти напротив Кремля в Зоологическом музее. Далеко не все стали учёными, но лесной полевой дух многие пронесли сквозь всю жизнь. Природа считалась святым делом, почётным – быть хорошим натуралистом, разбираться в растениях, птицах, знать следы. Всё это наработывалось в лесах неподалёку от столицы, куда школьники, войдя во вкус, ездили и сами, ночуя у костра. Попутно узнавали ближе русскую деревню. Изучали лес и поле во всех погодах-непогодах, переходах от слякоти к снегу, морозу, которые в ту пору стояли запросто тридцатиградусные. Взгляды были такие: городское, лощёное, изнеженное и связанное с модой, одеждой, эстрадной музыкой, – презиралось. Ценилось внешне исконное: телогрейка, яловые или кирзовые сапоги, обязательно портянки. Одежду, купленную и новую, застирывали до белёсости – выцветшая штормовка считалась едва не символом. В плане мировоззрения – историчности и национального осознания себя как русских не было в заводе. Все оставались обычными столичными подростками, пофыркивающими на власть и живущими будто в секрете.

Предыдущий летний сезон я отработал с геологами в Бодайбинском районе Иркутской области по золоту, где на меня сильнейшее впечатление произвёл образ трудовой, старательской Сибири.

Вот эдаким подмосковно-бодайбинским лесовиком слез я с самолёта в Бору и расслабленно-восторженно пошёл на берег Енисея. По дороге попался обритый наголо бичуган – он спросил полтинник и весело рассказал, как они полбараком на спор побрились под ноль. В Бору стояли экспедиции: сейсмики, «гравики» и прочая братия – кого только не было: всюю шла разведка на нефть и газ. Бичуган был классического вида – невысокий, крепкий, с плотной мордой в окантовке бородки и небесно-голубыми глазами в морщинках. Я заворуженно протянул полтинник.

По длиннющей лестнице спустился я к Енисею. На берегу шла речная жизнь, кто-то тащил бачки, кто-то отъезжал на лодке, кто-то подъезжал, и я стал допекать мужиков, не едет ли кто в Мирное. Глупее не придумать: так далёко обычно не ездили. Ответ был один: «А чо ты – пароход ведь будет». Я вроде и знал про пароход, но тоже как-то в туманчике, в рассеянности. Пароход ждали часам к десяти вечера, по-северному светлым. Зашла туча, загремело, закапало, и я улёгся под косо стоящий дощатый щит на берегу и глядел на Енисей. В Бору

ширина Батюшки километра два. Сам сбитый, прямой, с волнистыми и неожиданно лесистыми берегами. Я ожидал чего-то картинно-скалистого и угрюмого – как на книжных гравюрах.

Ударил молния на той стороне и факелом подожгла лесину на краю леса. Вскоре пришёл «Калинников», и кто-то на лодке, «казаночке», меня увёз и посадил. На пароходе дым стоял коромыслом. Царила беготня с пивом. За борт летели пустые бутылки. На трапе второй палубы мне встретился толстый бойкий малый в энцефалитном костюме. С початой бутылкой пива он буквально скатился, пробумкал по ступенькам – массивный, колыхающийся. Увидев на мне энцефалитку, рявкнул: «Геолог?» Я попытался объяснить, кто я, но он презрительно бросил: «Аааа, наука... – и отрубил гордо: – Мы-то – производство». И будто в доказательство опустошил бутылку.

Я поднялся к капитану и попросил погудеть ночью в Мирном, чтоб выехала лодка. Капитан сказал, что погудит и что меня разбудят и высадят. Спал я мёртво, и разбудили меня только в Бахте двадцатью километрами ниже. Думаю, в Мирном никто и не гудел. Поднявшись на угор, я увидел на лавочке сидящего мужичка. Говорил он басовито и приветливо, был худощав и небольшого роста. Лицо дублёно-мужественное, продолговатое. Крупный приплюснутый нос, грозные брови, большие серые глаза. Звали его Павел Хóхлов. Он привёл меня к себе домой, напоил чаем и сказал, что если Енисей потихнет, то поедет на рыбалку и завезёт меня в Мирное. Ветер не потих, но выяснилось, что мирновские сами приехали и меня заберут. Я спустился к Енисею. Мирновские сидели в «Прогрессе», один из них разбирал карбюратор «вихрю» и чистил жиклёр проволоочкой. Другой, начальник отряда, наблюдал и время от времени говорил: «Ну что там?» или «Много нифилей?»

Наконец мы поехали в Мирное. Дул север, и мутный рифлёный Енисей ходил крепкой волной. То и дело попадались табуны уток, начальник, звали его Борис, спросил, кто это. Я не знал и смешался. Оказалось – свиязь.

Мирное было заброшенным посёлком. Из местных здесь осталась только единственная жительница – тётя Шура, описанная мною в рассказах «Таня» и «Ледоход». Меня поселили в «барак» – большую, низкую и надломленную пополам избу, где на нарах и железных кроватях спала под пологам мужская ватага экспедиции. За бревенчатой перегородкой располагалась кухня-столовая. Едва я перекусил, мне поручили чинить сломанное весло от «Прогресса».

В Москве незадолго до отъезда на Енисей я встретил в метро знакомого зоолога из Университета и рассказал о своих планах поехать в Мирное. Он посмотрел наставительно и строго и сказал: «Поезжай, но имей в виду, у них там страшнейший кавардак, так что ты не поддавайся и держись особняком». Выглядело, будто я эдакий целеустремлённый носитель научной мысли, которую следует беречь от чьей-то расхристанности. Это звучало некрасиво по отношению к моим будущим товарищам по Енисею, а главное: я не ощущал в себе никакого себя-на-уме стержня, нуждающегося в охране. Да и взгляд из вагона метро на Енисей был делом пустым.

Обложной комариный ной, запах черемши, ползущий из кухни, полусумрак белой ночи и копчёные стены «барака» захватили с первой секунды. Енисей подчинил, едва моя нога ступила на Мирновский угор и первая пригоршня комаров олепила мой лоб.

В экспедиции царил культ работы. Безделье и отлынивание от труда презирилось. Я не понимал, к каким научным открытиям приведут наши бессонные труды, но обстановка настолько захватывала, что я окунулся в неё с головой. Моя задача была ходить на разные виды птичьих учётов. Птичий гомон, росистое таёжное безумие начиналось в конце белой ночи, часа в четыре утра. Продирать глаза после ночных чаепитий и песенных посиделок было мукой. Раз я почти минуту натурально заснул, идя по визирке и чувствуя, как завязывает в голове бредятинка и начинают переговариваться голоса.

Самым тяжким считалась пойма Енисея с зарослями тальников и ольхи, озёрами, болотинами и прорвой комаров. И что главное – диким количеством птиц.

По сравнению с Тувой и Забайкальем тайга здесь хоть и северная, не особо рослая, но буйная, расхристанная, неимоверно сплошная. Пружинистый мох в колено, подлесок, бурелом, чаща. У берегов рек и ручьёв вовсе зелёное неистовство – разброс, разнотык травы и кустов. Вода ещё июньская, большая, в пойме у берега тальник частоколом стоит и, хуже того, лежит: перелазил – пружинит, берёт в растяжку, отбрасывает... Валишься в грязь, еле до лодки доползёшь – сапоги в чёрно-синей, сажевой жиже. Всё в лодку тащишь... Ступаешь на клёпаный дюраль мерзкой подушкой, лепёхой грязи. Лишь бы оттолкнуться, завестись, сбить комара. Выдохнуть... Грязь на носу подсыхает коркой, летит в глаза.

Обстановку нашей базы я попытался описать в повести «Отдай моё». Приведу короткий из неё отрывок.

«У каждого начальника были свои студенты. Пахали как проклятые, не спали, обмеряли огромное количество мышей, считали птиц... Все сливалось в одну упоительную картину – звон моторов, белые ночи и вой комаров, сквозь который Митя пробирался по колено во мху, рубя визирку для площадки, вдыхая пьяный запах багульника и остроскипидарный – срубленных кедриков и пихтушек, ананасно-сочных и податливых под топором. Работали прохладными ночами, днями спали тяжким сном под марлевыми пологам, к вечеру просыпаясь и долго приходя в себя, отпаиваясь чаем. Ели-пили на кухне. Курили на крыльце, под гонгом – куском рельса. Раз с берега на его звон скривился проезжий старовёр-расстрига, мужичишко с чахлой бородашкой: «Церков».

Все это было позже, а в первое утро по приезде Мефодий вывел Митю в тайгу:

– Ну – кто поет?

Тайга надрывалась от птичьего пения, слившегося в один оглушительный звон. Митя, назубок знавший птиц средней полосы, покраснел и помотал головой. Мефодий, для которого всего лишь в разных концах тайги задумчиво пело десятка полтора пичуг, называл, указывая пальцем:

– Синехвостка, желтобровая овсянка, сибирская завирушка, бледный дрозд...

Через пару недель и для Мити каждый голос звучал отдельно, и каждый день к нему прибавлялась новая песня или позывка. Песни виделись в виде линий, капель, ступенек. Росистое утро в тайге было наполнено висящим струящимся рисунком, и микроскопическая корольковая пеночка, прыгающая в кедровой вершине, существовала в виде огромного, на всю тайгу рассыпанного узора.

Утром на берегу Енисея седела многокилометровая недвижная даль, синел волнистый хребет берега, и переливчатая песня соловья-красношейки казалась тоже неподвижной и навсегда вписанной в эту даль, и поразительно крошечным по сравнению с этой бескрайней песней выглядел сам красношейка. Он сидел на свежезелёной талиновой ветке задрал голову, и его алое горло билось так мощно и судорожно, что при скрежещающих и шипящих звуках закладывало уши, и казалось, трепещет вокруг воздух.

Ночью по сырым ельникам пели соловьи, казавшиеся особенно таинственными и заповедно-сибирскими: синий соловей, соловей-свистун, синехвостка. Каждая птица была как драгоценность, со сверхъестественной яркостью и точностью отличаясь от своих собратьев, будь то лимонно-желтый с бурым чепраком самец дубровника, или малиновый клест, казавшийся настолько добротным и выпуклым, будто был покрыт не пером, а отлит из легкого и плотного материала. Митя чувствовал себя владельцем бесценной коллекции, и именно азарт коллекционера и двигал его вперед. Вскоре он стал лучшим учетчиком после Мефодия.

Рьяно отработав три сезона в экспедиции, прихватив кусок зимы, за что чуть не вылетел из университета, Митя, окончив учебу, тут же поступил на предложенное место.

Мефодием я назвал Олега Бурского, орнитолога. Ему тогда было лет двадцать пять и он руководил отрядом. Я попал под его начало, как в Туве под Валино. Зимой 1979 года мы с ним ездили в Мирное на зимний учёт птиц. Мороз стоял до 63 градусов. Мы перегородили

дырявый «барак» брезентом, чтоб располовинить объём, и не переставая топили печку. Не согревались, простывали и всё время дохали. Пробыли месяц, и я опоздал на зимнюю практику, привёз туда кожаные бродни, лыжи, оклеенные камусом, и ходил на них на снегомерную съёмку. Меня пытались выгонять из института, но больше для острастки, руководство о нас заботилось и терпело все выходки. Деканша, правда, недоумевала: «И что же вы там делаете? На этом Енисее...» Устроили у нас что-то вроде рассказа о летней экспедиции. Все подробно рисовали научные таблицы, блистали терминами, а я бесцеремонно заявил: «О моих орнитологических изысканиях вы можете прочитать в моей курсовой работе, а сейчас я вам Енисей покажу». И минут двадцать показывал диапозитивы о нашей экспедиционной жизни. Профессор Добровольский, руководивший мероприятием, сказал, что кроме бородатых мужиков и несущихся лодок хотелось бы что-то услышать о научной работе. К сожалению, научный выход у меня хромал, хотя в прикладной орнитологии я слыл докой. Птиц любил, копил в сердце, коллекционировал во всём разнообразии окраса, повадок, голосов.

На третью осень я уезжал из Мирного с Олегом в первых числах октября, когда сухой снежок уже лежал по берегу Енисея и с серебрёного небосвода лился в душу рассеянный свет осени. До безумья хотелось остаться здесь жить. И я всё спрашивал, далеко ли здесь горы – мне не хватало их, как в Туве тайги. Сопки начинались верстах в ста к востоку.

Приближалось окончание института, и нам с женой предложили в Мирном постоянную работу.

Летом я помогал Олегу с учётами, но чаще меня отправляли на орнитологические обследования края: провести учёты птиц, узнать, кто из пернатых где живёт и в каком количестве. За одно короткое лето 1982 года я побывал в Эвенкии и на Таймыре. На реке Столбовой, притоке Подкаменной Тунгуски, мы проводили обследование территории будущего Центрально-Сибирского заповедника. От меня требовалось подготовить лодку с мотором, снаряжение, бензин, вывезти всё это на поляну за посёлком и ждать вертолёт. Дело было в конце мая, я всё вывез и приготовил, и осталось только подцепить «дистанционку» к мотору, который уже висел на транце «Прогресса». Сундучок с ключами стоял у транца. Проснулся я утром от топота тётки Шуры и крика: «Миса, вертолёт летит!» Словно задели в небе иссохшую до звона щепу, и она нарастает рыком, грозной монотонностью. «Это не тот! Тот завтра! Сегодня 29-е!» В телеграмме от начальника стоял прилёт 30 мая. Пока я натягивал портки, вертолёт уже прогрохотал над посёлком и пошёл на посадку. Я побежал к поляне и увидел, что вертолёт сидит, заглушив двигатели, и из него неуклюже вылезает кто-то районный в сером плаще. На жухло-серой травке стоит наш начальник в новом со склада штормовом костюме, топчутся пилоты. Кто-то что-то выгружает. Но главное – мой «Прогресс» лежит перевёрнутый метрах в двадцати от своего места. Делегация солидно и смущённо мнётся по поляне, прячет глаза.

Я подбежал, наорал и пошёл собирать рассыпанные ключи. У мотора чудом ничего не откололось, хотя лодку несколько раз перевернуло в воздухе. Стекло разлетелось вдребезги. Подошёл невысокий человек в новом костюме и с полевой сумкой: у него была стоячая чёлка и острые серые глаза с бровями домиком. Мне показалось, я его где-то видел. Он сказал какую-то умную глупость, навроде: «А нет ли тут запасной лодки?» – и попытался мною покомандовать, на что я рыкнул: «Бочку давайте грузите! А стекло вышлете». Больше всего возмутило, что никто не только не бросился помогать, но и ни малейшего сожаления не высказал по поводу несуразной посадки. А ещё и попытались упрекнуть, что лодку не там поставил.

Мы загрузились в вертолёт и полетели на Столбовую. Человек со стоячей чёлкой оказался знаменитым охотоведом и организатором заповедников Феликсом Робертовичем Штильмарком. Именно он в зоологическом музее напал на Свет-Санну за то, что она недостаточно рьяно боролась с браконьерами на БАМе. Штильмарк был нрава заполошного и нервного, но с горячей и кристальной душой, преданной охране природы. Поначалу он раздражал попытками указывать, что и как мне делать – такому необыкновенно местному и коренному. Потом мы с ним

долго дружили. Он был главным специалистом по организации заповедников. Когда Феликс ушёл, стало особенно ясно, что такие люди последние. Отец Феликса Робертовича – автор знаменитой книги «Наследник из Калькутты».

В отряде кроме меня было ещё трое. По двое нас закинули в разные точки. Феликса с напарником – на Дулькуму в среднее течение, а нас, с знакомым мне пареньком по кличке Политический, на ту же Дулькуму, только ниже, под шиверу, откуда можно двигаться на лодке. Нас высадили первыми. В вертолёт Феликс взял с меня расписку, что пока я их не встречу, не буду спускать лодку и «тратить бензин». Я сказал, что ездить буду обязательно, раз на реке окажусь, но, если надо, расписку дам. Вообще, задачей моей было проводить учёты и возить состав.

Когда вертолёт стал снижаться и пошёл на круг над слиянием Дулькумы и Биробчаны, сложилась даль, убралась треугольная синяя гора и навалился кедровый хребтик, чёрный, резкий и сверкающий – настолько ярко лупило из-за него солнце. Сбоку, завалясь, пронёсся скальный каньон с полосатыми стенами, и вода сверкнула в кресте лучей, ослепив и тут же померкнув, пока вертолёт, сменив шаг винта, пошёл на посадку и, хлопая лопастями, начал заходить на жёлтый от палой травы островок. Гоня рябь по Дулькуме, он спускался всё ниже, будто сползая по мачтовым листвениям, оплавленным жарким дыханием турбины. Грохотали винты, трясся вертолёт и трепетала трава. Торопливо выкинули лодку, бочку, рюкзаки и ящики. Вертолёт, задрвав хвост, унёсся вверх по Дулькуме.

Настала тишина. Только приречное куличье не смолкало: свистели перевозчики, да мородунка, покрикивая, бегала по листвени, уходящей в воду. Ещё какая-то птичка монотонно свистела и не смолкала, пока мы разбирали груз и спускали лодку. Такой позывки я не слышал и, заведя мотор, поехал в её сторону. За поворотом, свесив ноги с бережка, сидели два молодых старовера и дули в самодельные тальниковые дудочки. С одним из них я как-то летел на рейсовом вертолёте. Звали его Фаддей Москвичёв. Второго, незнакомого, – Микола Большаков. Оба были из Кузьмовки, деревни на Подкаменной Тунгуске. Ловили сетями хариуса и, завидя вертолёт, испугались инспекции, поэтому сидели и выжидали, подманивали... Мы опешили, в диком месте уткнувшись в людей, а у ребят с плеч гора упала, хотя планы устроить заповедник на их речке встревожили. Мы мгновенно сдружились, переехали к ним в избушку и вместе проверяли сети и пороли рыбу.

Микола был покрупней и видный, с рубленным на клин лицом, похожий на Васильевского «Северного орла», но не такой картинный. Бородка слабая, и волосы, как у князя, только что ремешком не подвязаны. Фаддей наоборот – щёки яблочками розовыми, глаза большие и будто надутые ветром. Бородка тоже небогатая и мшистая. Фаддея я знал и больше к нему тяготел.

Было в нём что-то подкупающе-располагающее. Какая-то прямота, неприятие лишних слов. Фаддей долгое время был для меня образом, образцом, носителем сибирского духа. В ту пору Сибирь ещё не открылась во всём многообразии и заповедности характеров.

«Только с “буранов” на “вихри” пересели» – весело доложил Фаддей картину деревенской жизни, и от этой дружности, повальности пересадки дивно пахло остатком зимней свежести, снежных плешин на сопках... И добавил про чистку хариуса: «Ну что – погреемся?» Хайрюзов мы пороли, надавив с боков на брюхо, дав натяжку, чтоб легче рассечь, полоснуть. Частенько в разрезе ярко рыжела рассыпчатая икра. Икру солили в банке, а печёнки жарили на костре в сковородке. Я сказал, что знаю про Кузьмовку, что в Борском порту видел кузьмовского деда: «Такой осанистый». «Да, – Фаддей назвал имя и сказал, протяжно выдохнув: – Нет уже этого деда».

Фаддей великолепно включал на «вихре» скорость. Все делали так: левой рукой держали газ, а правой досылали чёрный грибок реверса. Фаддей одной левой, не отпуская румпеля, мягко втыкал его пяткой той же ладони. Не глядя. И, дав газу, уносился. Я потом долго дорабатывал, добивался ладности этого невозмутимого движения.

Отец и братья Фаддея жили в деревне Чулково на Енисее. К ним, точнее, к их отцу ездил в семидесятых годах Красноярский писатель Михаил Семёнович Перевозчиков, работавший над книгой о старообрядцах. В Мирном он останавливался пить чай. Рассказывал про Астафьева, называя «Витькой».

Годы спустя я встретил Фаддея в Бору. У него была огромная железная баржа с тракторным дизелем. Фаддей показался скромным и маленьким. Вскоре он умер. В таких местах люди, особенно старообрядцы, почти не лечатся, не проверяются и принимают судьбу в лоб. От Фаддея я узнал совершенно поморское выражение «утка в море хвост на угоре» – этим словосочетанием он прокомментировал свою хозяйственную распятость меж тайгой и домом.

Вода в Дулькуме гуляла в течение суток: с обеда начинало топить снег в хребтах – и к вечеру вода прибывала. Потом пошли дожди. Мужики упорно не привязывали лодки, и я, глядя на них, тоже рисовался бывалостью, экономией движений. Однажды лодки унесло – Миколину «казанку» прибило напротив, (у неё был предусмотрительно опущен мотор), а мой «Прогресс» исчез. У избушки лежала старая деревяшка, точнее, её нижняя часть, почти плоский ребристый остов, борта которого давно раздербанили на растопку. Мы стащили её на воду, и Микола, стоя в ней и балансируя, шестом угрёбся к «казанке». За поворотом мы нашли «Прогресс». С тех пор я не поднимаю мотор.

Вверху под шиверой мы жгли костёр и оставили записку Феликсу и его напарнику – воткнули палку, расщепили и сунули в расщеп квадрат бересты, где накорябали, что мы ниже в избушке. Однажды со стороны шиверы раздался выстрел, мы рванули вверх и встретили рыжую резинку с Феликсом и его напарником по фамилии Рыжиков. Феликс устроил скандал, что нас нет на месте и мы жжём бензин, но быстро успокоился, засокрушался, что не заметил записку и забыл сибирскую «манеру писать на бересте». Выяснилось, что их напрочь вымотала шивера: несло по ней вёрст двадцать с неистовой скоростью. Её и впрямь вздуло после дождей, что не пристать.

Столбовую образовывали три притока: Дулькума, Таннемакит и Биробчана. После встречи Феликса мы все объединились с Миколой и Фаддеем и поехали вверх по Биробчане до непроходимого порога со скалами. Денёк выдался замечательный, с тучкой, дождём и слепящим солнцем напросвет. Солнце налило желтизной листву березок, смоченную дождём и оттого ещё более нежную, молодую. Микола остановился проверить сеть, которую течением поставило вдоль берега. В сеть попал большой ленок. Свет солнца тоже был смочен дождём, и огненно-рыжие пятна на боку ленка горели особенно ярко. В эти минуты над нами проплыла скопа, светясь белым низом и угловато изломив крылья.

Мы стали табором у порога, который ребята называли «водопадом». Выше него река текла струей в ущелье. Фаддей уехал домой, а у нас вышла посиделка с Миколой. Микола спросил, что будем делать с леном. Я предложил «малосол». И Микола покладисто и основательно произнёс: «Малосол так малосол». И ещё раз два повторил. Потом он спросил, любит ли малосол Федя. «Какой Федя?» Оказалось, Феликс Робертович в экспедициях, чтобы не мучились с его труднопроизносимым именем-отчеством, представлялся Федей. Я по глупости счёл это за слабость.

В следующие два дня ходили по очереди на гору Каменную, с которой открывался такой вид, что вернувшийся Феликс, сияя, сказал: «Маленькие Саяны... Заповеднику – быть!»

Вода падала. Микола тоже уехал в Кузьмовку сдавать рыбу. Двинулись и мы. Ударил жара, и мы купались в ледяной Столбовой: пора стояла прекрасная – ещё ни комарика. На следующей стоянке Феликс окончательно пришёл в благодушное состояние, разошёлся и часа два читал нам у костра наизусть стихи. Меня поразило, какое большое место в его жизни занимала поэзия. Даже стихи Евтушенко, которого я не жаловал и считал сиюминутным, в его исполнении обретали глубину и вес.

Потом мы разделились: Феликс с Рыжиковым продолжили сплав на резинке, а мы с Политическим поехали на устье Подкаменной. Вода упала, мы сломали последний винт и к устью сплавились на вёслах. Там мы и поставили палатку. Устье Столбовой оказалось пересечением путей, и наша палатка стала центром событий. Кто только к нам не заезжал!

Выше по Тунгуске был переход сохатых, и мы несколько раз наблюдали, как на берегу стоит, выжидая момента, а потом плывёт лось. Неподальку стояли экспедишники и раз приехали к нам на устье со спиртом. Был один особенно колоритный, полный, в коричневых рейтузах. Он картавил и ко всем обращался: «Пагни». Потом из Суломая приехали два молодых остяка и среди них Слава Тыганов, который потом жил в Бахте и носил кличку Суломайский Разведчик. Одет он был в фуфайку с выдраным куском на спине, из которого торчало белое мясо. Он был внуком той тётки Дарьи Тыгановой, хранительницы кетских кукол, которую я снял на камеру после пожара её дома и про которую написал рассказ «Куклы тётки Дарьи».

Суломой – кетский посёлок на Подкаменной Тунгуске ниже Столбовой по течению. Я знал, что в Суломае делают деревянные лодки, и спросил Славку, может ли он заказать или сделать лодку. Тот покладисто отвечал: «Будет лёдка. Будет». «Ль» он произносил мягко. К ребятам присоединился некий Ваня, худенький мужичок, похожий на Акимку из «Царь-Рыбы», – тоже Суломайский, но работавший неподалёку на водомерном посту. У Вани была деревяшка с «ветерком». Он подгулял и всё дергал мотор. Тот завёлся и тут же к общему хохоту улетел в воду. Ваня все разводил руками: «Транец есть – мотора нет!»

Была ещё история. Подошёл из Бора катер с инспекцией. Одновременно под тем берегом Подкаменной развернулись события. Там шла синяя «обушка», наперерез которой бросилась ещё лодка. Началась погоня... Потом лодки сошлись, остановились, а вскоре одна из них подъехала к катеру. На ней был боровской инспектор Саша Кукис. Мы попросили винт. Он дал и рассказал, как «прикутал» Фаддееву «обушку», идущую из Кузьмовки в Бор. В ней кроме Фаддея был некий Сафон Потеряев с «тозовкой» и пушниной. «Тозовку» тот выбросил в воду, но Кукис её нашёл.

Через несколько дней на устье сплавился Феликс с напарником. Мы съездили в Кузьмовку пообщаться с начальником участка и вернулись на устье Столбовой. Мы уже сдружились с Феликсом, бывая в Москве, я заходил к Штильмаркам – Феликсу Робертовичу и Надежде Константиновне, добрейшей и удивительной женщине, преданной мужу, его памяти и делу. Помню, как хватил Феликса первый инфаркт. В доме у Штильмарка мы познакомились с Андреем Скалоном, который подарил мне книгу «Живые деньги». Это было году примерно в 2001-м, то есть спустя почти двадцать лет после заброски на Столбовую. Давно уже работал заповедник. Я показывал Феликсу свои рассказы, а он прислал копию письма Виктора Петровича Астафьева, у которого Штильмарк бывал в Красноярске. Видимо, они много говорили о нерадивом людском отношении к природе. Виктор Петрович писал, что человек – такая двуногая скотинка, которая пока «не перерубит сук, на котором сидит» – не успокоится. Феликс Робертович сделал очень много, чтобы сук, на котором сидит человечество, выдержал. Благодаря подвижнической деятельности Штильмарка в Советском Союзе был создан целый ряд заповедников. Центрально-Сибирский – большая территория, где представлена тайга и самого Енисея, и места к востоку и западу, где размножается соболь, северный олень, лось и другая таёжная живность.

О сохатых надо сказать особо: они действительно скапливаются в заповеднике, и, проезжая ближе к весне на снегоходе по Енисею, почти каждый раз видишь не только следы, но и самих зверей. Однажды я ехал с пассажиром-горожанином в санях. Он сидел спиной по ходу. Сохатый, вышедший из тальников на Енисей, бросился от меня бежать, но не в сторону, а вдоль дороги. Я, идя параллельным курсом, медленно и аккуратно обогнал зверя – заиндевелая, пышущая паром морда оказалась рядом с задумавшимся пассажиром...

Мы вернулись на устье Столбовой. Обследование восточной части будущего заповедника закончилось. Феликс собирался сплавляться до Енисея, а мы поехали в Мирное, но по дороге у нас рассыпался опорный подшипник в редукторе мотора. На Тунгуске дул сильнейший низовой ветер. Против него мы не выгребались. Сверху шёл буксир «Шарыпово» с баржами, мы кое-как к нему подшлёпали, и нас без разговора приняли на борт, а «Прогресс» привязали к буксиру канатом. Была вахта капитана. Невысокий, крепкий, он как-то царственно стоял в рубке, куда мы поднялись с потрёпанным и виноватым видом. «Мотор-то 20-й?» – «Нет, двадцать пятый». – «Ну хоть двадцать пятый...» – словно простил нас капитан. Спокойный, говорящий будто и нехотя, но с отеческой заботой. Когда я вышел на палубу проверить лодку, она маячила далеко за кормой: перетёрся канат. Капитан сначала не поверил, а потом очень спокойно развернул весь состав и точнее подошёл к лодке, будто она была главной единицей, а он довеском. В неё, гружёную, уже наплескало воды.

Чем ближе подходили мы к Енисею, тем сильнее становилась волна. Наш «Прогресс» был без стекла, и мне, видимо, надуло голову – теперь она раскалывалась, и я нетерпеливо спросил капитана, почему мы так медленно идём. Он очень спокойно ответил, что если пойдём быстрее, то от моей «посудины» мокрого места не останется. Особенно медленно переходили Енисей, где с ритмичной и неспешной силой ходили здоровенные блестящие валы. В Бору на бережку я сменил подшипник, заклеил эпоксидкой редуктор, и белой ночью мы ушли в Мирное. Дня через четыре я отправился на Таймыр проводить орнитологическое обследование бассейна реки Гольчихи.

Мы приехали в Воронцово на пароходе «Близняк». Напарник мой Олег, прилетев из Москвы, ехал на «Близняке», и я подсел к нему в Мирном. По пути вышло приключение. Примерно дня за три до «Близняка» мой напарник по Мирному Толя Блюме уехал в Туруханск вывозить контейнер, который провезли мимо, и я отдал ему под документы свою полевую сумку, забыв вынуть из неё пропуск в погранзону. Я отправил Толе телеграмму, чтоб подошёл на дебаркадер, но он что-то перепутал в расписании и не пришёл. Пришлось сойти на берег и остаться в Туруханске, а потом добираться на перекладных. Вот эти-то перекладные и стоят разговора.

Из Туруханска я неожиданно быстро улетел в Игарку на Ми-восьмом Илимпейской экспедиции – один в пустом вертолете белой ночью. Всю дорогу в поисках «Близняка» я исшаривал глазами Енисей. Перехватить пароход не удалось, хотя я видел его из вертолета у пристани. Вертолёт сел на бетонный квадрат в чахлом ельнике на задворках Игарки. Рядом шла дорога, и я, поймав самосвал, «погнал на дебаркадер». С дебаркадера хорошо была видна корма удаляющегося «Близняка». Тогда я загрузился на рейсовый катерок и уехал в аэропорт на остров, где сел в самолёт полярной авиации, такой же таинственно пустой, как и туруханский вертолёт. На этом, будто ждавшем меня, ИЛ-14 я улетел в Норильск, по дороге лицезрев могучую грозу над Путоранами. С тучами и радугами. С мутными и изогнутыми дождевыми завесами, и хорошо видной горой, похожей на наковальню. Зацепившаяся за неё чёрная туча выковывывала на ней длинные пульсирующие молнии, и розовые вспышки грозно озаряли из-под облаков.

Из Алыкеля на электричке я доехал до развилки, где стоял товарный состав на Дудинку. К его голове бежал полный маленький мужичок с авоськой. Он постучал, открылась и поглотила его дверь. Я тоже пошёл вдоль состава и постучал. Снова отворилась дверь огромного двухсекционного электровоза. Машинист спросил, что мне нужно. «Пусти, и объясню». «Полезай», – неохотно сказал машинист, а я залез и попросился до Дудинки. Он брать не хотел, я просился, в конце концов он проворчал, что в таких случаях «рыбу возить надо», и отвёл в заднюю секцию в просторную кабину с электрочайником.

Ехали до Дудинки долго, электровоз тяжело переваливался по искорёженному тундрой полотну, а я всё смотрел на покосившиеся телеграфные столбы вдоль рельсов и поражался

сырой и всепоглощающей силе тундры. И вспоминал продувной дух Алыкеля, где толпились люди со всех углов страны, летящие сюда из Москвы, Харькова или Ростова, минуя Красноярск и ничего не зная о Мирном и Подкаменной. Выходило странно: вроде бы чем севернее, тем дичее и безлюднее должно быть, а тут наоборот: своя жизнь и сквозные ветра-дороги.

В Дудинке широколапые и клювастые порталные краны стояли вдоль причалов, было серо и холодно, катал северище и ходил вал по широченному Енисею. Я долго шагал по засыпанной угольной пылью дороге к пристани. «Близняка» пришлось ждать. Олег безмятежно стоял на палубе и не сразу меня увидел среди стоящих на дебаркадере.

Поехали до Воронцова ещё дальше вниз, на север, где Енисей расширяется неимоверно и перед тем, как окончательно распахнуться, превратясь в Енисейский залив, снова узится в районе Воронцова и ниже. От места, где я впервые окунулся в Енисей на слияние Бий-Хема и Каа-Хема, досюда три с половиной тысячи километров. Если вытянуть это расстояние от Красноярска на восток, достанешь до Свободного – городка в Амурской области. Если накрыть запад – то почти Нижний Новгородхватишь. Чуток – и Москва...

Плоская ширь, волнистая тундра по берегам, и уже родная палуба под ногами. Мужик в ресторане – крепкое прямое лицо, сильные скулы, подбородок, серые глаза в морщинках, как прищуренные. Загорелый. Заказал салат из помидоров. Салат долго не несли, и он поторопил официантку, а когда та принесла, не спеша поперчил, посолил и медленно произнёс: «Я три года помидоров не ел». Только что он переехал с Чукотки с залива Креста, где работал трактористом. «Семья крепкая. Сам вятский». На серую тундру за окном сказал успокоительно: «Здесь-то... материк». Мне аж обидно за наш Север стало, тем более широтой Воронцово почти 72-й градус, а Залив Креста 66-й, да и теплее Чукотка Таймыра.

Пассажиров негусто. Все повылезали в предыдущих посёлках. Ненецкая девчонка из Воронцова, словоохотливая, добродушная, улыбается, морща нос: «В этом году ещё гусины не ела». – «Как вообще жизнь-то в посёлке?» – «Нормально. Работы, правда, много. А так передохнула, курточку напялила и в клуб».

Наконец посёлок Воронцово. Штормина, лёд на берегу, горстка народу у костров из плавника. «Близняк» делает первый рейс. На мотоботе матросики привезли нас на берег, потом никак не могли отойти. Мотобот клало на бок, обнажался молотящий винт, взревал выхлоп, ещё и верёвку на винт намотало... Потом капусту возили, и её тут же у костров грызли ненецкие детишки...

Был один ненец неугомонный, плотный, круглолицый, в безрукавке из желтой шкуры, подпоясанной ремнём с камусными ножами. Он всё норовил подъехать к пароходу, сновал туда-сюда на обшарпанном «крыму» с фанерным стеклом, возвращался и тыкался в плавничные бревёшки, и его толпой вытаскивали, пока он поднимал мотор. Побалагурив, порисуюсь у костра, он вдруг снова спихивал «крым», отчаянно отгребаясь веслом, заводил мотор и нёсся к пароходу.

Невозмутимым седым кряжиком стоял пожилой русский крепыш: невысокий, нос прямой, крепкая переносица и белая бородка луковицей. Представился сам. Чётко, басовито с сиплиной: «Геннадий Иванович». И обрисовал область владения, поведя рукой: «Моё тут рыба, пушнина. Пух, я называю». Повадка начальника, а сам предельный особняк ещё и с уставом, и словариком. Голос поставленный, говорит веско, что редко для этих мест. Всё знает. Видя, что мы не решили, где ночевать, тут же повёл к себе, в половину двухквартирного брусового дома, обшитого рубероидом от ветра. Здесь все дома так обшиты. Рубероид сохнет, ветер его задирает и рвёт.

Кто-то ещё подвалил в гости к Геннадию Ивановичу, завязался разговор, естественный, бурный. Один сказал, что видел или добыл белуху – здоровенного арктического тюленя. Мгновенно вспыхнул спор: как правильно «белуха» или «белуга»? Спорили хором, с жаром и азартом. Я начал объяснять, что та рыба, а этот тюлень. Всё неубедительно, пока Геннадий Иванович

не нашёл верного слова: «Тюлень? Это морзвер! Я и гры морзвер! Белуга – рыба, а белуха – морзвер». И все закивали и заповторяли. Пока сидели, нашлось и жильё – пустующий продавчихин балок. В нём мы и остановились.

Пока обживались и искали, кто отвезёт нас на Гольчиху, обросли знакомыми. Дух в посёлке стоял восхитительный: опьянение севером в глазах, гордость за место, обилие в посёлке работы и отличные заработки. Мужики все молодые, в расцвете. Упоение заполярной вольностью буквально сеется с бессонного белого неба, жизнь кипит, на день-ночь никто не смотрит, только солнце кружит и кружит, не садясь, по небосклону. Был парень по кличке Механик – синеглазый, белозубый, с длинными тёмными волосами. Он мало говорил и всё улыбался, млея – от обстановки, от осознания какого-то самого сока своей жизни. Он только что купил новую красную «обушку-эмку» и тридцатый «вихрь» – и всех катал, бесцельно и бесшабашно. Нас тоже прокатил будто в уплату, что не повезёт на Гольчиху. Вернул на берег, а вскоре мы его увидели снова подъехавшего: в венке из жарков он обнимал двух девушек, одна рулила.

Ещё помню Витю откуда-то с Украины. Он работал на дизельной – она была в железнодорожном вагоне, косо стоящем среди прорвы ржавых бочек, за которыми на сопке маячила сетчатыми антеннами радиорелейка. Витя тоже синеглазый, с щетиной и с усами вперёд щёткой, неспешный, очень основательный и с правилами. Всё рассказывал, что когда едет в отпуск на родину, то в первую очередь набрасывается на виноград. Слово это он произносил с особой мечтательностью: «виногхрад».

На Гольчиху нас отвёз другой Виктор, председатель совета или начальник участка, не помню. Он был из Ярцева, коренной, енисейский. Невысокий, чёрный, востроносый. Острый, быстрый. Голос уверенный, резковатый. Сразу заговорил про ход оленя, что, мол, «попадёте». Речка оказалась совсем другая, чем я привык, мутная, непонятно, где мель, где глыбь, и когда на перекате мы стали цеплять винтом, Витя наорал: «Давай, толкайся! Чо стоишь?!» Высадил на берег, объяснил, куда идти и где какие балки для жилья. И сказал уверенно: «А оленя обязательно добудете!»

Долго шли с рюкзаками по тундре. Нашли и балки, и озёра. Тундра стихия особая и с непривычки сбивает глаза. В тайге и лесотундре деревья задают привязку размера, а в тундре не поймёшь, сколько до озера, увала, горизонта. Решишь далеко – окажется рядом, думаешь, рукой подать – два часа чавкать. Идти тоже – где сносно, а где топь, особенно по лайдам с зелёной тонкой травкой. Озёра подо льдом, только начинают отходить. По увалам путики, расставленные цепочкой посеревшие ящики – в них на песца капканы. Всё развозится на снегоходе или вездеходе.

Набор птичьих видов меньше, чем в тайге, зато количество кишит: чайки, поморники, прорва куличья – ржанок, песочников, турухтанов. Из уток на каждом озёрке морянки. Крик странный, горловой, стонущий и будто не птичий. Всё, что у нас пролётом, мельком в вышине ранней весной и поздней осенью – здесь на гнёздах. Полярная сова, зимняк (мохноногий канюк). Краснозобая казарка, которую видели раза два. Ржанки. Когда-то в Мирном слышал из весеннего тумана их позывки, таинственные, чарующе-заунывные. Здесь на Таймыре они несутся со всех сторон. И песцы бродят худюющие – серые, перелинявшие и будто ободранные, с поджарыми брюхами.

Возле балка «буран» с гнездом трясогузки под щитком. У балков всё будто подгнившее, ветхое, сгубленное сыростью. Балочек серенький, обшитый пересохлым рубероидом, кругом какая-то рухлядь. Горой серые чурки. Вездеход обшарпанный. Всё ждёт зимы, мороза, когда перестанет капать в углу балка, заработает, окрепнет жизнь.

В балках солярные печки-капельницы из ацетиленовых горелок. Солярка капает на кирпич или тряпку внутри сразу за дверцей. Дверца задвижная, у нас была из какой-то лиловой таблички, навроде «Опасное напряжение».

Взлетают с хохотом токующие куропахи. Поражает нарастание, напор этого резкого деревянного хохота. Крики песочников, ржанок, поморников. Белое солнце, нарезающее бессонные круги. Стая чаек, неистово гоняющая по кругу полярную сову, позарившуюся на гнёзда. Учёты всей этой живности, рассматривание птиц в бинокль.

Пошёл олень, да так, что от балка по три табуна видно. А тут и гусь полетел, гуменник и белолобый. Всё одновременно, обвальное... Нашествие по суше и по небу. Напротив балка я выбил гуся из стаи, он упал в речку, и я выудил его лопатой, залив сапоги... Вскоре и оленя мы добыли – всё, как сказал Виктор.

Учёты провели, составили список птиц и вышли на берег. Не помню каким образом, но оказались мы ниже Гольчихи, кажется, в Троицке, и прибились к бригаде, строившей на берегу судовые знаки. Работяги со всей страны, бригадир литовец по имени Витас, худой, высокий, с длинным лицом и чёрными усиками. Жили, как братья, в большой армейской палатке. Утром с раскладушек раздавался кашель, шершавый звук нашариваемых папирос, гулкий и объёмный отзыв пачки, возня со спичками. Помогали мужикам, ездили с ними по тундре на вездеходе, у которого всё время вылетали пальцы, и их загонял кувалдой вездеходчик – добродушный дедок с серебристой круглой бородкой, бывший капитан.

Работа наша была выполнена, и я уже рвался домой. Выхать в Воронцово было не на чем. Витас пытался нас отправить на проходящем судне, связывался то с «моряком» («Транспорт, идущий с моря, ответь знаку!»), то с обстановочным пароходом: ««Овцин», “Овцин”, ответь знаку!» Мощный и похожий на быка сизый «Овцин» маячил в серебристой дали и вверх не собирался. Пешком я ушёл в Воронцово, переплыл Гольчиху, держа в руке одежду, и вернулся в Троицк с двумя ненцами на ржавой железной лодке с мотором «топчи нога».

За мотором сидел старик, так присохший к рулю и старинному брату-мотору, что будто питался этим движением по Енисею-моря. Было ощущение знакомости картины, словно я читал о ней или видел в кино. С дедом сын, лет двадцати, подмигивающий на деда, впившегося в руль, мол, и пусть – это *евонное*. Сам же с азартом комментировал окрестности и в определённых местах, изображая осетра, секретно приставлял к лицу продолжением носа указательный палец. Мол, тут они и ходят. Носатые эти... Что-нибудь спросишь – а он эпически: «А вот этого-то я и не знаю».

По приезде на Троицкие Пески (видимо, это были они) я получил втык от Витаса. С классической какой-то художественной интонацией он мне выговорил: «Ушë-ë-ёл, ничего не сказ-а-ал!»

Протока от озера недалеко от Енисея посреди ярко-зелёной травки... В ней метнувшийся из-под ног огромный дымчатый хариус... Берег, заваленный плавником, головёнка нерпы, показавшаяся из воды и исчезнувшая... Морская даль и дым от невидного «моряка». Моряк либо удаляется и исчезает, либо, наоборот, появляются мачты и сам пароход.

Неводили вместе с бригадой – гигантский нескончаемый невод тащили цепочкой, взвалив на плечо мокрую верёвку, по-коромысленному обхватив её, повесив на неё руки. Бросая и заходя обратно, чтобы ухватить и вытянуть новый кусок витого толстого бережника. Чувствуя пружинистую отдачу, трудный ход по дну, режущую тяжесть верёвки. Потом выбирали серебристых нельмушек, омулей... Селёдки (ряпушки) полно попало. И не помню, была ли зубатка.

Потом кто-то нас увёз на «Прогрессе» в Воронцово. Там я купил унтайки и малицу, оленю одежду мехом внутрь. Сверху отдельный матерчатый чехол – чёрно-синий с красной оторочкой понижу. К рукавам пришиты из нерпы рукавички и капюшон, не помню – не то олений, не то нерповый.

Уже вылез комар, когда мы сели на «Близняка». На нём работали практиканты с Николаевского кораблестроительного института – больше половины команды. Мягкая южная речь. Песни, гитара. Пароход до Дудинки почти пустой. Белая ночь, музыка, пляски на корме верх-

ней палубы. Песня «Снег кружится», она только появилась и её ставили десятый, двадцатый раз... Молодой красноярский механик до того разошёлся, что выкинул в Енисей стол.

Была красавица Светка, буфетчица со второй палубы – стройная, с раскосыми глазами, лисьим лицом, картинным ртом. Все за ней повально ухаживали. А она компанейская, весёлая... такое взаимопонимание, дружба! Разговорились. Попросила собрать ей кислицы (красной смородины), «Заказываю, всё! Сделаешь? Ведро?» – «Сделаю». – «Точно?» – «Точно». – «Ну смотри!»

Прошли Дудинку. В Игарке всё тонуло в дыму, пахло гарью: горело южнее по Енисею. И снова вверх. Курейка, Туруханск... Когда вернулись домой, стало понятно, что уже середина августа – тёмные ночи, огни пароходов, перемигивающиеся бакенá и створы.

К рейсу «Близняк» я собрал ягоды – подъехал на лодке к пароходу, который остановился, кого-то высаживая. Поднялся и прошёл в каюту, где в духоте лежали женские тела, разметав конечности, волосы. Похрапывала повариха. Светка тоже крепко спала, я её толком не добудился, она издала какой-то стон, нечто настолько капризное, женски-сонное, что я с ведром так и уехал на берег. Матроска сказала, что ягодой они «затарились под завязку в Ворогове»...

Всё было непоправимо другим – рейс, люди. Вода.

Я вспомнил, как наутро после возвращения с Таймыра вышел на угор. Как впаялся в привычную незыблемую картину – створ на охвостье острова, высокий таёжный яр выше посёлка, снизу мыс, покрытый косым ельником. Здесь бакен, здесь сеть, здесь избушка на том берегу. Как гвоздём прибитый створный знак на Сосновом рúчье.

И с новой силой встал перед глазами весь огромный Енисей – с заливом, распахнутым в Карское море, с ненецкими ребятишками и белыми ночами. С посёлками и людьми, которые будто не существуют, пока живёшь в одном месте и считаешь свой кусок Енисея главным, единственным, вокруг которого всё крутится. А оказывается, дальше к северу ещё тысяча вёрст, морские суда, ледаколы, стада кранов в портах, какой-то «Овчин»... Ненцы, доглане, нгасане... Сотни вёрст сильной и неповторимой жизни, где каждый держит свой кусок Енисея как неводную упругую верёвку.

Наш, Мирновско-Бахтинский кусок неводного бережника, крепче всего держала в своих трудовых руках единственная местная жительница Мирного Тётя Шура. Её неутомимое жизнелюбие я пытался описать в рассказах «Таня» и «Ледоход». По молодой дурости и огульности мы многого в ней не замечали. В экспедиции над ней подсмеивались, называли Шуркой за глаза, уличали в хитрости, интриганстве и воровитости. До сих пор удивляюсь, почему нам никто не объяснил, как следует относиться к пожилым и натерпевшимся людям. Все смеялись над её выговором, повторяли словечки, и даже в Бахте дети Павлика Хохлова говорили: «Тётя Шура так интересно говорит». Побывала она как-то в городе. Спрашивают, где жила, в каком районе? Она: «Ну там ещё это... круглое, где выступают». Цирк оказалось. Начальник отряда Борис, кличка Боб. Его собака: «Бобин кобель». Обязательно не «нету», а «нету-ка». Не «тама», а «тама-ка». «Привези чо-набидь мне-ка». Главного начальника фамилия Сыроечковский. Тётя Шура: «Меня Цыроицковской сподографировал!» Сотрудник никак не мог завести генератор: «Он его возбуждат, а тот не возбуждаться!» Всё это с хохотом повторялось, передавалось уже как легенда новым студентам...

Были у неё и странности. И выдумщица была, и заполошная, и наивная до анекдотичности. Прибирала валяющиеся вещи. И бабью хитрость имела, шитую белыми нитками, и политику, но всё перевешивала яркость, весёлость духа и полная неповторимость. А самое главное – она была душа и плоть Енисея.

Раз поехали мы с ней в Бахту, на почту и, как говорят на Енисее, «снабдиться» – то есть в магазин. Тётя Шура крепко насиделась в Мирном и у неё были свои планы, размах которых

вскрылся по ходу поездки. Нельзя не рассказать, как Тётя Шура готовилась в дорогу. Ты ещё чай допиваешь, как взлаивает собака и прокатывается вдоль дома частый-частый скрипучий топоток. И от двери гулко продолжается по сениям быстрыми шажками. Тётя Шура вваливается и – бум на гостевую табуреточку. Кладёт на пол выцветший рюкзачок и штабельком рукавички. Вся укутанная. Утянутая. «Готовая?» – «Сто тты, с сести тясов! Я не отстану. Я от тебя нисколь не отстану-ка!» Выходим. Бодрая, собранная в комок. Рукавички. Рюкзачок. «Всё-всё. Ст-тты, парень! Нисколь не отстану!» Готовая бумкнуться в сани. Ты ещё возишься с подсосом, ещё рукавиц не надел: она уже сидит. Как вкопанная. Недвижно. Мол, гля кака образцовая. Всё, что от неё требуется, сделала, теперь твоё дело – вези! Добром токо.

Доехали добром. Сначала завалились на почту к дяде Коле Петрову. Дядя Коля был добрейший, колоритнейший и запойный почтарь. Предыдущий, надо отдать должное, тоже не отставал от традиции, известной и не раз описанной русскими сочинителями. Ещё в Мирном Тётя Шура задала ноту поездки: «У кого-у кого, а у Коли Петрова мы красной рыбки-то поедем». Так и вышло. Коля мгновенно усадил нас с морозу за стол, где при появлении красно-жёлтых прожилистых подковок малосольной стерлядки Тётя Шура вскричала: «А я Мисы давеча говорела: у кого у кого, а у Коли Петрова мы красной рыбки-то поедем!» И захотала, засияла. Был и подтекст, будто я не хочу ехать, а она приманивает этой красной рыбкой, словно для меня это решающее. Забрав почту, мы поехали к Павлику Хóхлову, и там тоже при появлении на столе красно-розовых в жёлтую прожилку кусочков она воскликнула: «А я Мисы говорела, у кого-у кого, а уж у Павлика-то Хóхлова мы красной-то рыбки поедем!» И опять: гляди, ведь не обманула с праздником?! А ты сомневался! Не хотел ехать. Потом завернули в магазин за продуктами, и я уже было собрался обратно в Мирное, как тётя Шура выпалила: «А к Шасы-то Киномеханику не заехали, Ой, сто тты?! К Шасы-то? Еде-едем! На минутоську! На одну минутоську!»

Все эти люди удивительным образом оказывались её дальними или ближними родственниками, видно, она всех жителей Енисея считала роднёй. В том же азарте мы ломанулись к Саше-Киномеханику. Александр Николаич с Валентиной Андреевной мгновенно накрыли стол, и снова тётя Шура закричала: «Сто тты! А я Мисе говорела... У кого у кого, а у Шасы...» Она окончательно разошлась, причём без капли хмельного – главный хмель был её гостевой настрой, азарт и выжженный порыв души, которым она заражала окружающих. Песней и прибауткой она завивала вокруг себя весь стол. Пора было ехать в Мирное, пока не остыл «буран» – уже стемнело и так ослепительно вызвездило, что если сейчас не тронутся, то к утру точно даванёт под полтинник и мучай-заводи потом технику да морозь сопли по дороге. «Ну всё, тё-Шур. Поехали домой! Поедем! Мороз-то жмёт». Тётя Шура машет залихватски рукой: «Да сёрт его бей, этот мороз! Сиди маленько, сиди! А я Мисы говорела...» Я снова: «Поедем». Она классически для такого случая меняет тон на покладистый, разумный, увещающий: «Ну куды тичас на нось глядя?! А? Мозет переночуем давай...» – и это вековечное: «А за-а-автра...» «А завтра с утра поедем».

Ох уж это «а завтра!» Оно всегда произносится так, что если не комкать дело спешкой, то за ночь проведётся небывалая работа по укатке дороги и прочим облегчениям жизни. Саша с Валентиной Андреевной подпевают: «Да конечно, ночуйте! Выспитесь, а завтра с утра-а...» Видя моё упорство, Саша отдельно вступил, негромко, будто с глаза на глаз, по-мужицки, без баб этих: «Миша, слушай (в одно слово) Мишаслушай! Шура правильно говорит. Может, правда, останетесь? Чо в потьмах шариться?» – и с особой капитальностью, двигая в такт рукой, сжатой в кулак: «Останьтесь, переночуйте. Отдохнёте нормально. А там дорога проколет, завтра час делов и дома!» Я отлично понимал, что завтра будет кристально-хрустальное утро и стоящий колом «буран», некормленная собака и нетопленный дом в Мирном, да и вообще, коли собирались в день туда-обратно, значит, и надо в день. Тут Тётя Шура заподмигивала Шасы, чтоб он подбавлял мне в стопку да почаще поднимал. Уже в тумане взвилась ещё одна запо-

теля поллитровка, и в общем... к бабкиной радости, меня развезло. Мгновенно и необыкновенно заботливо уложили меня на диван, «Ну вот, Миша, вот. Вот, это другое дело, отдыхай, моя...»

С утра в сенках над дверью дрожало кружевце куржака, грозно светилося отверзтое небо над деревней, синё было, и длинный ртутный градусник на крылечке показывал 47. Над трубой соседнего дома почти не шевелился отвесный дымок.

Двумя руками, по миллиметру вытягивая тросик стартера, провернул я двигатель несколько раз, (поршня словно мёрзлое болото присосало), а потом завёл «с ключа» безо всякой паяльной лампы, благо снегоход был новый, а главное, Тёти Шурина уверенность в победе распространялась, похоже, на всю округу. Доехали быстро. «На мах!»

Однажды в Мирное приехал погостить некий Михалыч, великий северянин, баламут и любитель красного слова. Приехал с молодой женою, приглядной и насквозь городской, из ресторана официанткой. Дело в начале зимы было, и вот пошли они смотреть Тёти Шурин самолет. Я подъехал в момент, когда молодая жена, поскользнувшись около края пролубки, подмочила ногу. (Вода, как пробьёшь, сразу вровень с краями встаёт.) Упала, испугалась, заплакала. Михалыч её утешает, обнимает, она ему на плечо голову кладёт. Носом хлюпает. А Тётя Шура смеётся, подмигивает мне: «Добрый таймень попауся – надо было его крёбком!»

Уже живя в Бахте, я заехал под осень в Мирное и зашёл к Тёте Шуре. Со мной в одну дверь ввалились девчонки из экспедиции: «Поговорить хоть с Тётёй Шурой, скоро уезжаем». Она гостеприимно: «Ну давайте поговорим... Заходите». И неожиданно открылась. Заговорила поэтическим тоном, растягивая слова. Как детям сказку читают перед сном, таинственно тяня: «И вооот, отправился Иван-Царевич»... И во-о-от, когда настанет осень, и все разъедутся, останусь я одна. И вот, оста-а-анусь... и хожу по посёлку и воспомина-а-аю, как шумно было летом, кто здесь был, какие вёл разговоры, пел песни...

Деревня была полузаброшенная. В верхнем конце жил заведующий станцией, крепкий осанистый москвич европейских взглядов. Чуть ниже мой друг Толя Блюме в ветхом домишке. В середине ещё один мужичок из очерка «Пимы и заяц», о нём не сейчас. Ещё ниже и дальше мы и Тётя Шура. Между каждым жителем промежутки.

Ночевал у нас несколько дней Толя – не помню почему. Может, с печкой незаладилось. Утром пошёл к себе, а из его сенок шасть волк. На следующий день история повторилась – волк снова выбежал из сеней. На третий день Толя ружьё взял, но волк не пришёл. В сенках на лавочке лежало примятое сено, волк на нём и спал. Тётя Шура тоже видела: «Худощий. Нехоросий». И «оправился тряпкой»...

Тётя Шура отличалась острейшим зрением. Замечала всё и даже больше и иногда даже для «возбуждения» охотничьего духа сообщала, что тама-ка у «Сохатинного ручья» сохатые «всё унесли». Чтoб ехали искать, добывать, не сидели сиднями. Встретила у Арвамки (Варламовки) Васю-лесника, «От он и напромышлял! В нарту глянула – а там и ря-я-ябсики, и копалу-у-ухи!» С восхищением и тоже с намёком – промышляйте да мне несите. И всё по-старинному: «Знамо», «имя», «опеть», на «вызах» («на лыжах»), «избяной кóбель».

Енисей забирали душу седой капитальностью жизни. Она исподволь вступала. В Туве природа столь фантастична, что будто не требовала человека, по крайней мере в ту короткую пору, когда я там был. Здесь же, в середовой части Енисейного течения, привораживал именно уклад. Тува в секунду ослепляла алмазной Монгун-Тайгой, а тут каждая глава разворачивалась постепенно и разрешалась человеком. И правила, ясно, зимы. А снега, льды, морозы всегда здесь избыточны.

Мирное оставалось селом заброшенным, и осколком уклада была только Тётя Шура. Соседняя же Бахта жила сибирским бытом полнокровно и плотно. Однажды в декабре под вечер я встретил в Бахте охотника, возвращающегося с промысла. Он подымался, въезжал в деревню на «буране», встав на одно колено. За ним колыхались плотно увязанные сани с тор-

чащей бензопилой. И сам молодой мужик в суконном костюме, и сани – всё было покрыто снежной пылью. Охотник мне еле кивнул, дальним ходовым взором впившись в дорогу. Выезжал он по Енисею и был частью морозной седо-голубой дали, теряющейся в мороке. Даль эта через несколько минут должна была соединиться с цветным уютом половицков и ковров, визгом детворы, печным теплом, оплавливающим заросшее льдом лицо. С женой, повисшей на шее. Я даже сочинил стихотворение, будто бы от лица такой заждавшейся хозяйки.

Я давно замесила тесто,
Наколола для бани дров.
В семь часов он уехал с места,
Передали, что он здоров.
В это время темнеет рано.
Снег синел в переплётё рамах.
Я слышала рёв «бурана»
Сквозь нестройный собачий гам.
Я забыла дела и беды.
Он подъехал на всех газах.
Ледяной огонёк победы
Колыхался в его глазах.
Весь до пят в снеговом налёте
Он стоял у дверей избы.
И строчил из дыры в капоте
Пулемёт выхлопной трубы.

Конечно, никакая жена не стала бы описывать этот строчащий выхлоп, которые мужики выводили вбок, чтоб не лупил на гусеницу и не растил там ледяную блямбу. Но дело было не в хозяйке: больше всего на свете мне захотелось быть на месте этого самого человека, что стоит у дверей избы в снеговом налёте.

Никогда не забуду того, прежнего Анисейского духа. Сеней со штабелями мёрзлых налимов – не то склад снарядов, не то заиндевевших лопастей. Стерлядок, до звона промороженных и необыкновенно колючих, цеплючих, если задеть суконным рукавом. И когдаходишь в избу, той богатой волны, которая охватывает на стыке мороза и избыного тепла, на паркой границе миров. И обострения запахов – кислинку отходящей псятинки своей же собачьей шапки, вобравшей морозный вдох дали, снежную тонкую пыль. И ещё чего-то огромного, грозного, замешанного на зиме, морозе и ледяном ветре, пьющем висок. Когда нет ничего дороже, чем избыное тепло и горячий чай с молоком, и они настолько огромны, что кажется – «дубарину»-то и нагнали, чтоб уравновесить этот огневой жар гостеприимства.

В Бахте мы останавливались у Паши Хохлова, того самого, который сидел на лавочке в день моего приезда в Бахту. Сколько раз мы к нему приезжали – с ночевой, без ночевой – одному Богу известно. Как-то с Анатолием приехали в Бахту и, по обыкновению, зашли, но он ещё не вернулся из тайги – у него был любительский участок на той стороне Енисея. (Был ли кто дома, не помню.) Пока пили чай, подъехал и Павлик, гудко загнав «буран» в крытый двор – с тем особенным звуком, когда катят по твёрдому в закрытом пространстве. Послышалось, как Паша охлопывается от снега. Зашёл заиндевевший, со слезящимися глазами, замер у порога, напряжённо наклонившись вперёд, будто дорога ещё напирала, и долго развязывал-раздёргивал заколевшими пальцами завязки ушанки. Дублёно смуглый. Синие глаза навывкате, приплюснутый нос – детская травма – конь наступил. Покрякивая, снял шапку, потом белый подшлемник, голова с примятыми волосами стала вдруг неожиданно маленькой, худой. Всё это делал, округляя губы, скалясь с мороза, покряхтывая. Потом сел на диван у двери и развязывал

вязочки у бродней. Бродни – с брезентовыми голяшками и кожаными чёрными головками. Головки похожи на налимьи морды или раковины двуустки – настолько брюхато выпирали вниз кожаные подмётки. Вязочки тряпичные – с простёганными широкими передками: когда едешь на одном колене – не врезаются в голень. Грубые брезентовые голяшки особенно резко воняли выхлопом. Сам говорил мало и с придыханием:

– Так-кой хиус³. Резкий... – Рука, сжатая в кулаке, дополняет, показывает.

Непонятно, клянёт он этот хиус или гордится им.

Бродни, на ногах тугие, как булки, опали и лежали на половике, пока он их не перевязал вязочками и не *повешал* над печкой. Потом, запустив руку в рюкзак, вытянув губу и глядя загадочно то в потолок, то на нас, выудил из рюкзака соболя, добытого с собакой: «О, котяра какой...» Соболю с кровью на ухе, длинный, подмятый, подслонявленный собакой. Между проводом к розетке и белёной стеной самодельная расчёска. Достал и несколько раз чесанул соболя. Расчёска – палочка и в неё вклеены на эпоксидке перемотанные ниткой швейные иголки, такой китовый ус. Потом, попив чаю с молоком и закусив шаньгами с творогом («Давайте, парни, хряпайте»), сел на диван, поджав ногу и обхватив рукой ступню в вязаном носке, подтягивая её, подсовывая ещё дальше под себя, заводя, как рычаг газа заводят до крайнего щелчка. Покурил в баночку, стоящую у двери. Потом освободил ногу и взял гармошку.

Паша работал бакенщиком и очень любил судовой Енисей, песни вроде «Встаёт туман над Енисеем, пути дороги не даёт, За три часа до Красноярска остановился пароход». Недавно узнал, что это стихи Ошанина. Пел он и «Красноярск раскинул улицы». Но с особой любовью «Иван да Марья» и «Хочешь Ярославную, хочешь Ярославочкой». Очень любил Толкунову. «Мне без тебя ни сна ни дня» – прекрасная эта песня доводила его до светлого восторга. Пел и бахтинские песни. В одной из них я узнал «Бодайбинку», только на упрощённый мотив. «Ты теперь одна в горах *Виктима*, скрылась путеводная звезда, отшумели воды *Бодайбима*, не забыть любимого лица». По крайней мере мне так слышалось. Самый лучший бахтинский куплет он пел с особым выражением:

Я приду к тебе через Сарчиху
С караваном бешеных собак,
Брошу я рыбалку и охоту,
Буду водку пить, курить табак.

(Сарчиха – это речка напротив и ниже Бахты.)

Только сейчас понятно, что значил Паша для Енисея: его корневой открытый характер вместе с любовью к песне давали особый и редкий замес. Он был певец Енисейского духа. По степени поэтизации Енисея он роднился с Тётей Шурой.

Нас с Толей он полюбил искренне, но, бывало, и ёрничал:

– Ох, эти мирновские. Вечно чо-нибудь да отмочат...

А мог вдруг обнять, привалиться:

– Не знай – привык я к вам.

А Ира, жена, чудная светлая женщина, добавит:

– И правда. Вы нам как сыновья.

Тёплые, добрые люди. Приветный дом. Белёные стены, тихий и ровный свет ночника: батарея с бакена и лампочка. Домашний маленький бакенок. С таким тихим и спокойным светом, что казалось, душа Енисея бакенком-лампадкой светила, охраняла этот дом. Белёные с

³ Хиус – ветер, тянущий с верховья. Часто хиусом называют просто стылый и пронзительный зимний ветерок. При этом обязательно потирают лицо и силпо морщатся: «Так-кой хиус!»

синькой стены, на которых свет лампочки разливался голубовато, лунно, столько раз привлекали нас, усталых, с чёрными руками от сломавшейся техники... Насылали сон, отдых в приятном этом доме, кораблём стоящем над ночной морозною бездной.

Уже синё за окном, и если выйти на угор, то сизым мороком сеет от Енисея, калёной тягою несёт. Провал... Заторошенный, свирепый... Того берега не видать... Хорошо, если луна тепло подсвечивает, оживляет дымный простор. А так – сумерки, наносит дымком и лают за спиной собаки. Ночной хиус тянет, да задумчиво летит параллельно угору мельчайшая ледяная пыль.

Паша был охотник, знающий дело и чувствующий сердцем тайгу и реку в каждом вздроге, в союзном единении сил, и рыбьих, и птичьих, и звериных. Охота интересовала его не как страсть или отдушина, а как часть родного Енисея. Такой же частью был и дом на угоре, и лестница, по которой поднимались незнакомые люди, всегда обогретые и напоенные чаем. Паша был домашним, стремился вдень вернуться домой с охоты – под тихую свет-лампочку. Этим он и отличался от промысловиков, уходящих на месяцы, живущие особой силовой жизнью и укладом семьи – трудным и отрывным. Такие охотники выбирали одну часть Енисейского мира: к примеру, если он соболятник, то его не интересовали трактора и дизеля, чужды, враждебны были. Паша разбирался абсолютно во всём, связанным с Енисеем: знал все лодки-моторы, всех капитанов и пилотов Ан-2, мог бесконечно говорить про ножи, сети и патроны. А уж про пароходы и буксиры – отдельная история. Когда буксир идет без состава, это называется «пустым корпусом», вот Паша и придумал, что когда на «буране» идут без саней, то это «уйти корпусом», и вся деревня до сих пор так говорит. Я как-то поделился – мол, добываю с азартом, а вот сама обработка пушнины мне нудновата – заставляю себя. А Паша только развел руками, сказал удивлённо, с придыханием: «А как?»...

Работал бакенщиком, охотно рассказывал, откуда и докуда их «водопутейский участок», как они обслуживают «бакена и створы» и что такое «веха у бакана». Поначалу бригада ездила на ржавой шаланде с «топчи ногой», потом имя дали катеришко. Образ водопутейского участка многое говорит о Паше, потому что он тоже обслуживал, обихаживал свой участок Енисея своей любовью, песней и сильным словом.

Про тайгу говорил с басовитым восторгом: глухарь на кедрё – чо-о-орный. Или в морозный день белочка сидит на листвени, шелушит шишку, и этот шорох издали слышать, то показывал очень смешно и точно, как кобель, слушая, наклонял голову, а потом ка-а-а-к ломанётся «на махáх». Или про суку, которая хорошо искала соболя и глухаря, но не лаяла («сидит только и смотрит»). В пару к ней был приставлен молодой бестолковый кобель, который «не искал путём», но обладал отличным голосом. «От такая бригада».

Давал советы на каждый случай – как собачину солью выделать, как лучше белку обезжирить, как вариатор снять.

Своим басовитым зычным голосом он будто опедал эту морозную даль. И в этой песне, гимне всегда дело кончалось победой. Что-то сломалось в дороге – тут подклинили, здесь наложили, тут подтянули – паа-пёрли! И такое светилось в Паше восхищение изобретательностью, будто этот спасительный выход никак с людской волей не вязался и был частью округи.

Любил и хохмы. Попёр в Бахту за глухарями, заехали с вечера, а с утра «туман страшный», и вот они едут вниз по Бахте, высматривая глухарей на галечнике. Навстречу мужики из Верхне-Имбатского (это ниже по течению) Енисея. Здорово! Здорово! Те: «Магазин во сколь открывается?» – «Какой магазин?» – «Так... А до Бахты сколько?» Паша раскатисто хохочет: в тумане мужики не заметили, как свернули с Енисея в Бахту.

Больше всего любил пытаться другого на любовь к Енисею. Что б сказал, что именно тебя здесь приворожило, что поразило-понравилось... Мог дурачиться, мол, и чо вы сюда припёрлись, «сидели бы спокойно на материчке». А чаще спрашивал в лоб: «Ну как сходили?», «Как река?» В смысле «хороша?» И очень хотел, чтобы сказали: «Ещё бы!»

А уж как любил всё русское, деревенское... Тогда это казалось естественным, не нуждающимся в защите, а сейчас – глядит бесценно сквозь годы. Как хочется этот блеск протереть. Омыть, Павел Григорич, твой образ, лик, глядящий с эмалевого овальчика на могилке. Помню, в тихую и тёплую минутку у тебя дома при синем свете твоего бакенка ты вдруг сказал: «А напиши, Михайло, что-нибудь про нас». И я пытался писать, и даже рассказ этой фразой закончил. Да всё не то было. А сейчас время подошло. И вот видишь – пишу.

Мы всё собирались поглядеть на Бахту, про которую Паша говорил басовито: «Оооо, што ты – красавица!» И что ехать вместе надо, а «то вы ни избушек не знаете». И что там «косы, камни... Впоретесь...» А Бахта всё манила своей горностью, и я так мечтал вверх по речке. На северо-восток...

Из Бахты, от Павлика я возвращался в Мирное, где ходил на учёты, маршруты которых прокладывал себе сам. Погружался в работу, которую, конечно, и любил, и старательно выполнял, но всё сильнее интересовал меня не научный результат, а тайга сама по себе. И то, насколько похожу на Павлика, или того охотника, что летел на «буране» домой с промысла. И тем ли движением влажу в сплетения юксов на камусной лыжине, и так ли сноровисто и терпеливо меняю «бурану» свечи на морозном ветру.

Я снова ехал в Бахту, где дядя Толя Хóхлов сшил мне собачью шапку: помню, как подробно показывал выкройку, видя, что мне интересно: «Вот это ушки, это козырёк». У Паши были пимы, на носках которых стояли сохачьи лбы, и я тоже устроил себе такую обувь. Сшила их, если не путаю, Любка-Националка, Любовь Антоновна Коротких. И лыжи я купил у старовера из Лебядя Толи Потеряева. Сам-то ещё ничего не умел – некому учить было.

Раз шатучий медведь вышел к Мирному в феврале. Следы мы видели на Енисее, где зверь выбегал на «бурановскую» дорогу. Я отправился на учёт по верхней дороге и на краю деревенской поляны обнаружил следы и свежайшую медвежью лёжку с волосами. И рядом такую же, но вчерашнюю, проколевшую. Почему собаки не почуяли медведя – загадка, видать, ветер с деревни был.

С Толей мы схватили ружья, вскочили на снегоходы и помчались по верхней дороге. Догнать не догнали – медведь давно бросил дорогу и свалил в сторону. Потом вышел на Енисей и направился к посёлку уже понизу – около зеленеющей забереги замаячила его чёрная рыскающая фигура. Из последних сил его тянуло к жилью – по глубокому снегу тайги не находишься. Мы снова оседлали «бураны» и, скатившись под угор, помчались к медведю. Тот забрался от нас на яр. Решили так: Толя лезет следом, а я заезжаю выше, поднимаюсь и, дойдя до «бурановской» дороги, пытаюсь его перехватить: ведь он снова по ней побежит. Забираясь на яр, я слышал Толину стрельбу. Добежав на широких лыжах до дороги, я несколько минут стоял в засаде за деревьями со вздымающейся грудью. Потом с ружьём наготове шёл по дороге, пока её не пересекли следы медведя и Толиных лыж. Медведь бежал на махах, и было ясно, что скоро ляжет. По готовой лыжнице я мгновенно догнал Толю, который расстрелял все патроны: «ружье слабило». «Там вот лежит!» – указал он рукой. Мы прошли вперёд, на полянку, за которой в пихтаче лежал медведь. Я побежал вперёд, он встал и зарычал, красно открыв пасть. Я выстрелил ему в лоб, и он рухнул. Подбегая, я ещё раз выстрелил в голову. Это оказалась медведица, худющая и давно бродящая по тайге. Когда Толя, поднявшись на угор, стрелял по ней, она в ярости кусала березы, и летели лохмушки бересты. Он никак не мог попасть и грешил на ружьё. «От это охота!» – с жаром сказал Толя. И шутливо проворчал: «Ему загони, положи – только стрéлить осталось! Конечно, чо так не охотиться!» Запалили костёр, ободрали медведя. Потом на нарточке тащили до «бурановской» дороги.

В Бахте Пашин отчим, слепой Дед Никифор сказал: «Ну и правильно, что убрали». Шкуру мы отдали на выделку Тёте Груне Лямич, старой остячке. Я приехал забирать и увидел,

что у медведя отрезан нос: чтоб дух медведя не нашёл своего обидчика. А ведь Паша предупреждал: «Смотри, чтоб Груня нос не отчекрыжила». Я попросил, но она сделала по-своему.

Жизнь в Мирном шла не гладко. То начальник подталкивал нас к держанию коровы, что б молоко было, когда он с семьёй приезжает из Москвы. То под него самого вдруг начинал под коп новый туруханский инспектор. То ли это был подкоп начальника под Толю, не желавшего держать корову и даже козу и бесполезно занимавшего место. Вокруг Мирного был заказник, и охотиться запрещалось. Проверять, не стоят ли у нас капканы на соболя, новый инспектор приехал вместе с Сашей Кукисом, тем самым, который дал нам винт на устье Столбовой: «Да, помню. Я ещё вас проверять не стал – видно, что дилетанты». Я сглотнул слюну – сам себе я казался на редкость бывалым, особенно в глазах «московских», от которых показательно себя отделял, несмотря на столичное происхождение.

Инспектор зашёл и к Тёте Шуре. Она взвилась: «Удди отсюда! Я красноармейка! Ты кого проверять приехал, бесстыжая роза! – и въедливо вскрикнула, тыча палец: – А у самого смотри: сапотька-то ондаротская!»

На Толю составили протокол за настороженный путик, и вся эта история ускорила его уход в Бахту на промысел. Там требовался напарник одному охотнику-промысловнику. Звали его Александр Николаич Устинов и охотился в ста верстах от Енисея по Бахте.

Эти сто километров были нам с Толей уже знакомы. Как-то осенью мы договорились с Павликом, что он наконец покажет нам реку. И вот в рассветных сумерках – чтобы успеть на утренник на глухарей – выехали мы из Мирного. Помню этот всегда обновляющий подъём в темноте и нашу дорогу в Бахту – медленное разгорание ясного неба с востока, ледяной напор ветра в стекло «Прогресса» и летящую тонкую луну за сквозными ёлочками.

Павлик поехать не смог – водопутейскую бригаду отправили в Лебедь, где потерялся мальчик с приставшего парохода. Мы поехали сами и всё ждали, когда же будет знаменитый Ганькин порог, про который нам говорил Павлик. В эту поездку я первый раз в жизни так хорошо увидел глухарей на утреннике – седой от инея галечник и неподвижные чёрные фигуры, вытянувшие вверх шеи. Шеи гнуто продолжали линии корпусов, и гнутость усиливала сходство с корнями горелого кедрового выворотня. Казалось, что птицы не живые – настолько недвижны и странны были их фигуры, вскоре медленно пошедшие и будто плывущие...

Мы пёрли, нарушая все правила речного устройства, и всё ждали, когда же Ганькин. Ломились по шивёрам в самом мелком месте, обтаскивались там, где сроду не обтаскиваются, лезли туда, куда в *эту* воду не лезут, и в одном месте раз семь меняли шпонки на меляке выше слива. Один выгребался на вёслах, другой, навалясь на задранный мотор, возился с винтом.

Река поразила кристальной водой: не в бирюзу или бутылочную зелень, как в некоторых горных реках, а в дымчатую, глубокую синь. Спина чира или нельмы созвучна этому тону.

Когда лодка трогалась, в линзовой игре волны галька выпукло выгибалась. Казалось, дно рядом и пласт воды столь тонок, что взяться такой массе неоткуда. На скорости галечное дно рябило в одурающей близости, неслись красные, синие и жёлтые камни. Обломки скал сливались в одну рябящую кускастую массу, которую вдруг прерывала бледно-зелёная плита с трещиной.

Поразил меня один свал-перекат – сине-стальная линия, шершав-ребристая черта, риска, перегораживающая реку, и то, что сам каменный порожек находился глубоко под ней, но чуткая речная кожа его отобразила. Водяная плоть была настолько стеклянно-тугая, жилистая, что вызывала глубокий нутряной отзыв, кишошный, как говорят на Ангаре. Никогда больше того рисочного переката я не видел – и дело не в уровне воды, а в глазе, привыкшему к подобному... Так приближался я к образу моей любимой каменной Сибири.

В ожидании Ганькина допёрли мы до 105-го километра и встретили там Саню Устинова, который только что заехал на охоту. Он сплавлялся по шивёрке на «казанке» и кидал спиннинг. Одет был в сине-красный свитер и меховую безрукавку. На голове ушанка. Мы спросили:

– А где Ганькин?

Он желчно ответил:

– Чо в Мирном мышей не стало...

– ?

– Шаритесь дак.

– А Ганькин когда будет? – пронудил я.

Саня не то фыркнул, не то прыснул. Оказывается, мы давно его проехали, так же как и Факторинские Шивёры, Баню, два слива Косого и Шиверу Выше Холодного. Вода была хорошая – нам повезло.

– А вы когда выехали?

– Часов в семь.

– Сегодня? – не понял Саня.

– Но.

– Ну вы даёте, – удивился он нашей быстроте, а потом напёр, мол, нечего здесь шариться, когда у охотника «предпромысловый перивод». Мы прекрасно понимали, что не следует нарушать одиночество охотника, и помалкивали.

Для приличия спросили, видел ли птицу или зверя. Саня окончательно раздражился и сказал, уже будто делясь с нами:

– Да тут то сейсмики, то хрнейсмики... какая на хрен зверь-птица будет!

Он был рослый, хорошего сложения. Русский с карими глазами. С чуть худощавым породистым лицом. Если ондатровую шапку заменить на соболю, то и вовсе боярского вида. Только нос обморожен, будто подъеден, да один глаз слегка косит, и белок сверкает разбойничьи. Видя, что мы выше не собираемся и завтра назад, сказал примирительно:

– Поедете, Косой смотрите аккуратно...

Мы переночевали на косе рядом с пятнадцатикубовой ёмкостью Борской экспедиции. Кидал спиннинги. Утром залезли на высокий красный яр, откуда была видна широченная река в точках камней и жилах, насечках, морщинах течения, – подчинённое единой тяге жидкого стекла, оно сочилось в разных направлениях. Домой ехали уже со знанием дела, изучая и запоминая пороги и шивёры.

В Мирном была длинная алюминиевая лодка с деревянными бортами, которую сделал когда-то один красноярец и оставил начальнику базы. Когда Толя пошёл напарником к Устинову, мы забросили на ней их общий груз. Саня шёл передом на «казанке» и в нижней части Бани (название порога), напротив камня, где когда-то перевернулся, снял и надел чёрную кроличью шапку. На выходе из слива он срезал шпонку, мы его обогнали и, приняв верёвку, вытащили вверх.

Когда приехали, он прошёл по берегу и, вернувшись, грозно прорычал: «Тропы!» – ярясь на экспедишников или ещё кого-то, бродившего и умявшего траву. Потом вытащил из курьи и швырнул на галечник кусок косы из чёрного провода.

Груз забросили и выехали, но тугая плоть реки настолько иззатила глаза, что я спятил совсем и навязался к Толяну на начало охоты, «недельку-другую помогу, если чо». Толяну и отказать неудобно было, и с Санькой обсуждать не хотелось. Мне же показалось, он кивнул на моё предложение – это вместо того, чтоб отправить куда подальше. Скорее всего, разговор вылетел у него из головы – и без того забот хватало.

Саню с Толей забросили на вертолёте, а я, сотрясаемый мечтой об осенней Бахте, подговорил своего друга по Мирному Тимофея Зацепина отвезти меня на лодке «хотя бы до Бани», откуда дальше я пешком уйду к Толяну.

Выехали рано по морозцу на моей синей «Обушке». Из Бахты всю пёрло шугу. Мы неслись по пятнистой речной шкуре, и серебряные блины шуги ширкались о дюралевое днище. Тимофей отвез меня на 80-й километр к порогу Баня, где Санька снимал чёрну шапку у роко-

вого камня. У меня болел зуб, и Тима, прощаясь, очистил и дал мне луковицу, по-научному сказав: «На, фитонцидику поешь». И помчался на синей «Обушке» обратно. Шуга уже шла густо, и сквозь гул мотора доносилось, как раскатисто грохотала она о дно лодки и как взревел мотор, хватив льда.

Боковые речки начинают шуговать в первые морозцы. Толща Енисея, текущего с юга, ещё долго держит тепло, в то время как из притоков медленно и грозно несёт седые поля, грозя опоздавшему с заброской охотнику.

По серому галечнику я побрел очарованно в избушку, по дороге добыв из-под собаки копалуху. Добравшись, сварил, но путём не поел – зуб не давал, только похлебал прозрачный бульон. Ночью спал плохо, кобель всё лаял за ручей, и я несколько раз выходил. Проснулся ближе к утру оттого, что язык мой придавило к нёбу: флюсище распёр пасть. Такая режущая навалилась боль, что я прокалил на керосиновой лампе самодельный нож и вспорол ненавистный ком. Облегчение настало на грани наслаждения.

Наутро я прошёл на берег и взгляд мой упёрся в поразительно недвижную реку – сизую шкуру в трещинах и стыках. Запредельным было оцепенение, остановка, фотографическое омертвление. Будто эра сменилась... Морозец градусов за пятнадцать – и река встала сама собой – замерла одномоментно всей выставшей кожей. Без мучительного шугования, сминания в торосы.

Я пошёл в следующую, базовую, избушку, где ожидал встретить Толю и Саню. Идти было наслаждение. Обычно реки встают по снежку и моментально припорошиваются. Сейчас снега не было, и я шёл по льду возле берега, поражаясь прозрачности льда и тому, как хорошо видно не только галечное дно, но и рыбу: то стрелой проносился таймешонок, то табунок ельчиков замешкался у самого берега. Зажатые меж дном и льдом, они на мгновение легли на бочок, чтоб вырваться и метнуться стайкой на глубину. Серебряный и дружный пересверк тел был особенно ярким.

Я пришёл в избушку на высоком яру из красного сыпучего камня, древней прессованной глины. В избушке было тепло, пахло хлебом, аппетитной и избяной какой-то кислинкой. По вещам, по теплу было ясно, что мужики где-то поблизости. Нажаренная с луком картошка с тайменем лежала на сковородке. Я затопил печку с экспедиционной, будто асбестовой серой трубой. Поклевал, насколько позволяла после операции моя пасть, попил чайку с пряником и, откинувшись на железную кровать с шишечками, смотрел на стены. Полки ломились от пулек, журналов, батареек, спичек и папирос (оба тогда курили). И каждая пачка будто говорила мне сыто: «Да, во так вот, мы тут и живём. Всего с запасом. А ты мешаться припёрся». И наряду с радостью прибытия я испытал неизбежную горечь оттого, насколько всё заботливо и капитально приготовлено для долгой таёжной жизни, а меня не касается. Вскоре залаял мой кобель, и я вышел на яр. По берегу шли Толя и Устинов.

Устинов встретил меня с удивлением и неприкрытым неудовольствием. Он понятия не имел о плане нашего совместного осеживания с Толяном, и моя помощь в заброске никакой скидки не делала. Особенно возмутили Устинова «тозовка» и кобель, кричащие о моих охотничьих планах на его участке. Я, чтобы не молчать, спросил, не видел ли он каких-то там мужиков, которые здесь проезжали летом? Он отрезал, что до хрена здесь всяких мужиков шарится. И с особенным раздражением выпалил: «И зимой и летом!» И, в общем, отправил меня домой.

Вместе с Толяном мы пошли в нижнюю избушку, где я резал зуб. Устинов велел отвезти туда нарточку с продуктами. При всей глупости моего положения мы совершенно не унывали. Шли по льду, дивясь донной карте и жалея, что нет коньков. В шивёрке меж камней мы провалили нарточку и подмочили устиновские папиросы. В глубоком зелёном улове стояли щуки. Мы долбили топорами дырки и подводили блёсны под самые щучьи морды. Я коснулся пасти тройником, и рыбина стремительно сорвалась, взмыв облако донной мути. Так ничего и не поймали. Видно, жора нет – решили мы.

У меня жор помаленьку начинался, и мы даже развели на галечнике костерок и попили чаю с галетами. В поняге у меня всегда была баночка от горошка с ручкой. После устиновского урока я настроился на дом – чтоб Толяна не подводить, да и на душе скребло: дошла бездумность затеи. За чаем я рассказал Толянну о планах своего отступления. Он, чтобы меня не расстраивать, посетовал:

– Жалко. Думал, хоть побудешь...

Толя дал мне «казанку», на которой я сплавился до Бедной. «Казанка» лежала как раз там, куда меня довёз Тимофей. Ниже Бани река, сжатая высокими таёжными берегами, текла только середкой – с боков стоял лёд. Так и сплавлялся я в испорканной до оловянности казанке, помогая сушайшим еловым шестиком. К ночи вышла луна из облачков – и закончился шивёристый участок. Шуги становилось всё больше, каша густела, слипаясь, закрайки сжимали живую часть, и она сходилась клинышком. Уткнувшись в затор, я выбрался на лёд и, вытащив лодку, пошёл поглядеть, что дальше. Метров через пятьсот спасительно зачернела вода. Я вернулся и, оперев шест в носовую перегородку, дотолкал лодку до открытой воды и часа в два ночи припёрся к Сане Левченко на Бедную. Там всю шуговало и спирало реку. Кое-как добрался я до берега, сидя на носу верхом, отталкиваясь шестом и помогая ногами, вставая на лёд и обрываясь. Помню, ещё поорал Саньке, чтоб он вышел помог.

Сане хотелось поговорить, а мне спать, и я, невнятно поддакивая, уснул. Утром вытащили «казанку», и я пошел дальше. Поняга у меня была алюминиевая с торчащими скобками под поясной ремень. Я связал её с лыжами, так, чтобы и их носы, и алюминиевые скобки стояли на льду, и в эту нарточку запряг кобеля. Шлось отлично – река везде стояла. На тридцатом километре от Енисея на берегу синела, задрав нос, вытащенная к тальникам моя «Обушка». Тима крепко привязал её к талине и на её вершину повесил яркую оранжевую чалку-поплавок. На льду недвижно седела дорога с рваными краями – путь Тиминого пробивания к берегу.

В Бахту пришел ночью, Сухую перебрёдя в сапогах – зашёл повыше в перекаг... По деревне брёл как во сне в ощущении полнейшей нереальности происходящего. Встретил будущую тещу Толяна. В лунном свете она поправляла поленницу – полная, тяжело переступающая с палкой. Переночевал у Павлика в тихом и торжественном свете ночника на белёных стенах. Под задумчивое тиканье будильника. Утром ушёл пешком в Мирное. Варламовка стояла в устье.

Тимофей писал в письме, как его затирало, как впаяло в шугу, и он ночевал в лодке посреди реки, на всякий случай привязавшись, а весь следующий день пробивался к берегу. Ночевал и ещё полдня вытаскивал лодку. Потом шёл в деревню. Неподальёку от Енисея его подобрали бахтинские мужики. Первое, что он спросил, было, есть ли хлеб.

Тимофей не знал, попаду ли я до весны на Бахту и на всякий случай закорячил лодку повыше, и мужики, с которыми я ездил зимой за лодкой, сказали:

– Так бы и пёр её до деревни!

Это был Санька Левченко, которого встречал на «буране» дядя Вася Шейнов: с ним мы и поехали в два «бурана». Взвалили лодку на сани, и Санька находчиво посадил собак в носовой бардачок, чтобы не останавливаться и не ждать. Люк он захлопнул с весёлым криком: «До связи!» На кочке люк открылся, и собаки выскочили врассыпную. Это описано в «Стройке бани».

Я окончательно заболел Бахтой, и когда Устинов ушёл с промысла из-за больного сердца, уволился из Мирного и поступил в госпромхоз к Толе в напарники. А Устинов оказался большой человек, и мы с ним крепко сдружились. Судьба его сложилась трагически: болел, потом, перебравший кучу моторов, вынес операцию по замене сердечного клапана. Маялся в вечной недостатке лекарств, разжижающих кровь. Пытался охотиться в избушечке неподалёку от деревни. Держал скотину, ставил сено, тянул хозяйство. Бился за жизнь, как мог. Не уронил звание мужика и ушёл раньше срока.

Переезжал я в Бахту осенью в середине сентября. В рассеянном серебре неба, в грифельной серости штриховой ряби и обтрёпанной желтизне полуголых берёзок строгое было достоинство. Желточные листья убрали огня и растворились стволами, так что рыжие лапы отдельно висели густыми мазками на облетелой лесной подложке. Я ехал по Енисею на длинной лодке, до верху загруженной пожитками, которые довершал письменный стол. Четырьмя ногами он глядел в небо и, как Цаган-Шибэту, травленный первым морозцем, напоминал о перевёрнутых временах.

Ехал метров сто пятьдесят от галечного берега, на котором слоями-полосками пролегли отметки реки о разных уровнях. Выше шли тальники, за которыми ближе к устью Варламовки начался чахлый остроконечный ельник, серпообразно заломленный верховкой (юго-западным ветром).

Утка, одевшись в дорожное серое платье, уже шла на юг. Летел встречь мне и одинокий гоголь, как вдруг неожиданно и косо заломаясь, метнулся книзу: следом нёсся сапсан. Вот он ударил сверху, впился когтями, и пернатый комок рухнул в Енисей. Борьба шла отчаянная, летели брызги. Гоголь что есть силы уходил в воду, а когти сапсана, видимо, уже вошли в замок в утином теле. Гоголь всё выгребал под водой крыльями, топя хищника, – взмахи сапсана становились тяжелее и отчаяннее, крылья намокали всё сильнее. То ли моё приближение потропило сокола, то ли сам он, чуя гибель, ослабил хватку. Он отпустился от утки и тяжело потянул к берегу над самой водой. Гоголь же предовольно взлетел и, упитанный, споро потянул к югу. Сапсан ткнулся на галечный берег, а я приблизился и рассмотрел его внимательно.

Сокол сидел у самой воды, открыв клюв. Крылья были бессильно опущены, с них продолжала литься вода. Птица тяжело, всем телом дышала, и в такт этому дыханию сильнее открывался клюв. Тёмный выпуклый глаз в оторочке жёлтой восковицы мне показался полным отчаяния. Вид этого красивого и стремительного хищника, попавшего в передрагу, поразил меня. Когда сильный оказывается в беде – есть в том что-то вопиющее.

3.

Оттого, что горы здесь начинались не сразу, я особенно жадно ловил их признаки: каменистое сжатие реки, первые скалы, сопку в повороте. Образ Восточной Сибири отвоёвывался у равнины долгой ездой вдоль низких берегов, однообразных поворотов, и от этого синяя сопчатая даль оказывалась ещё более выстраданной, добытой, а поиск давал настоящее счастье. На обратном пути каменная сторона отпускала так же терпеливо и постепенно, осторожно возвращая в широкий разлив Енисея.

Охотились мы с Толей с общей базы на красном яру, где я когда-то лежал на кровати с шишечками и разглядывал полки, сыто набитые запасами. С этой избушки мы и разошлись настораживать: Толя вверх, а я вниз, до избушечки, где порол флюс ножом. Какой-то приэкс-педиционный немолодой чудак сплавился, прошел кусок реки на нашей «казанке», которую потом вытащил на берег у подбазы, откуда его, видимо, забрали на вертолёт. «Казаночку» он оставил в камнях полуперевёрнутой, подпёртую палками как навес – скорее всего, укрывался от непогоды. Какая-то была ещё записочка, что, мол, бегу от инфаркта. Но главной диковиной оказалась книга Блока из собрания сочинений. Толсты тёмно-синий том – стихи и статьи. Книга была прострелена из «тозовки». Что за расстрел учинил неизвестный горе-читатель, кого казнил и в каком порыве?! Эту дырочку 5,6 мм я хорошо помню, она как след компостера прошивала каждую страницу. Ямка с трещинками, вмятая в бумажную толщу, стаканчик в стаканчик скрепляющая страницы так, что приходилось разлеплять.

До вытащенной «казанки» кусок реки, кажется, стоял, и я ушёл туда пешком. Выше базы река ещё шуговала, и Толя, поехавший вверх на лодке, как выяснилось, еле пробился – лёд шёл «мятиком». Дойдя до «казанки», я сплавился на ней до избушки.

Какое наслаждение было спустить по камням в чёрную воду лодку, крикнуть собак и отдаться вязкой тяге течения, её постепенной забирающей силе! И чувствовать, как речная быстерь тягучей рукой пробирается под ложечку. Какой озноб испытывал я от предчувствия одиночества в тайге! И как студёно и требовательно накатывало звенящее уединение! В посеребренных таёжных берегах заключалось что-то и опустошающее, и возводящее, а когда я приплавился к избушке, пустота берега была абсолютно одушевленной, так же, как и плотнейшая тишина, которую подчёркивал далёкий грохот Косого порога в двух верстах ниже... И всю изводило сердце предчувствием звёздной ночи, золотого лампового света. И книги в руке.

Прошито пулей Блока я исчитал, слепо увлекаясь и тем лучшим блоковским, без которого неполна душа русского, и тем декадентским и мистически-цеховым, что до сих пор не в силах разделить.

Так и сплеталось поэтическое, старинное – с сибирским, таёжным. И настолько дорого было и то, и другое, что хотелось навсегда соединить несоединимое и отлить в языке русской классики медные силуэты тетёрок на лиственни или висящие на травинках над ручьём ледяные погребушки – овальные и прозрачно серебряные.

Первые сезоны охоты можно назвать одним словом – долгожданность. Ни знаний, ни опыта не было, но помогала одержимость, неэкономность первых шагов, готовность меняться. После Нового года зашли в тайгу. В начале января по обыкновению давили морозы под шестьдесят, и мы ждали, пока отпустит, и вышло, что путики долго простояли несмотрены. Прошла росوماха и сожрала около десятка соболей. «Одни лапки! От ведь падла!» – неистовствовал Толян. И мы взялись рубить пасти, изучать способы насторожки, переделывать капканы на высокое зависание добычи – делать оцепы: журавли из длинной жердины, привязанной к дереву. Когда попадал соболю, он будто на удочке висел. Помню, как я ликовал, когда песец натоптал целую площадку под висющим соболем, не в силах достать добычу. Геннадий Викторович Соловьёв, наш наставник и автор прекрасных таёжных рассказов, в одном из них очень точно описал смену состояний охотника, идущего по путику. Идёт, поскрипывая на лыжах, и в голове одна мысль, одна мольба: «Чтоб попало! Чтоб попало!», а после того, как на дороге вырывается след росوماхи или лисицы – то мольба меняется: «Чтоб не попало! Только, чтоб не попало!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.